

---

**«ОСЕНЬ ПАТРИАРХА»:  
НЕИЗВЕСТНЫЕ МЕМУАРЫ О ПОЗДНИХ ГОДАХ  
ДМИТРИЕВА**

**С. И. Панов**

Задумывая жизнеописание И. И. Дмитриева, П. А. Вяземский сразу же после смерти поэта начал собирать мемуарные свидетельства людей из дмитриевского окружения, старался получить его письма к разным адресатам. Так у него сформировался комплекс документов о кончине Дмитриева, который позднее был передан Я. К. Гроту, а уже в XX веке опубликован К. Я. Гротом<sup>1</sup>. Находились у Вяземского и другие связанные с Дмитриевым материалы. В Остафьевском архиве хранятся, в частности, списки двух неизданных очерков мемуарного характера с пояснительной пометой Вяземского: «Дмитриев Ив. Ив. Статьи из его биографии»<sup>2</sup>. Решить задачу определения авторства этих текстов, никак не обозначенного в рукописи, стало возможно лишь после изучения писем к Вяземскому от А. А. Иовского за 1842–1845 годы<sup>3</sup>. Одно его письмо 1837 года уже было известно – оно входит в опубликованную Гротом подборку документов<sup>4</sup>; неизданная же часть эпистолярия не только содержит прямое указание на авторство Иовского относительно одного из очерков, но и дополняет мемуарный комплекс

---

<sup>1</sup> Грот К. Я. К биографии И. И. Дмитриева. Неизданные письма и заметки, относящиеся ко времени его кончины (3 октября 1837 года). СПб., 1902 (оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. 1901. Т. VI. Кн. 4).

<sup>2</sup> РГАЛИ. Ф. 195.1.1187а.

<sup>3</sup> РГАЛИ. Ф. 195.1.1966.

<sup>4</sup> Грот К. Я. К биографии И. И. Дмитриева ... С. 33–38.

новыми текстами, так как два ноябрьских письма 1844 года тоже представляют собой написанные по просьбе Вяземского воспоминания<sup>5</sup>.

Их автор был достаточно известным в Москве ученым-медиком и естественником, почти вся служба которого была связана с Московским императорским университетом, знакомство же с И. И. Дмитриевым, переросшее в многолетнее общение, завязалось во многом случайно – «пососедски».

Александр Алексеевич Иовский родился 29 августа 1796 года в Острогжске Воронежской губернии, где его отец был протоиереем<sup>6</sup>. «По окончании курса наук в Воронежской семинарии исправлял должность рисовального учителя в продолжении двух лет; по увольнении из духовного звания, принят в число студентов Московского университета 1816 года августа 20-го и с 1817 года помещен на казенное содержание». Получив за успехи на физико-математическом факультете серебряную медаль, он со второго курса перешел на медицинский факультет, где был отмечен уже золотой медалью. В 1822 году получил звание доктора медицины (*Dissertatio medico-chemica de acidis, quae oxygenio carent <...> / Defendet Alexander Iowsky. Mosquae: Typ. Univ. Caesariae, 1822*) и оставлен при университете с магистерским окладом. Еще студентом начал издавать переводы, а затем и собственные научные труды: «Лекарственный или Фармакология» Курта Шпренгеля (1822, с лат.), «Руководство к осмотру аптек» Иоанна Ниманна (1822, с нем.), «Начальные основания химии» (1822, 2 части; дополн. и переработ. изд. 1827–1828).

---

<sup>5</sup> Выдержки из этих мемуаров были нами сообщены ряду коллег и уже цитировались и упоминались в печати (см. напр.: Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского / Сост. А. М. Песков. М., 1998. С. 23–24). Охарактеризовав эти мемуары как «замечательно интересные», А. Г. Тартаковский пожелал нам скорее опубликовать их (см.: *Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997. С. 246–247*). К сожалению, лишь теперь исполняем это пожелание. Наши первоначальные колебания относительно авторства очерка «Домашний быт И. И. Дмитриева» отразились в: *Орлов А. А. Нравственно-сатирические повести / Предисл. и публ. А. И. Рейтблата // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 10–11*, где его предположительным автором назван Н. Д. Иванчин-Писарев.

<sup>6</sup> Основным фактическим источником для биографии А. А. Иовского является статья о нем в «Биографическом словаре профессоров и преподавателей имп. Московского университета» (М., 1855. Ч. I. С. 359–364; далее цитируется без ссылок), которую частично дополняет «Выписка из Аттестата профессора Московского университета А. А. Иовского» из собрания М. П. Погодина (РГБ. Ф. 231/IV.1.38) – она составлена во второй половине 1860-х годов. См. также: *Ушакова Н. Н., Соловьев Ю. И. Передовой профессор Московского университета А. А. Иовский // Труды Института истории естествознания и техники. М., 1954. Т. 2. С. 4–18; Змеев Л. Ф. Русские врачи-писатели. СПб., 1886. Вып. 1; Венгеров С. А. Источники словаря русских писателей. СПб., 1910. Т. 2. С. 527.*

В 1823 году Иовский «отправлен был от университета в чужие края для усовершенствования в химии и фармации». Три года пребывания в Германии, Париже и Лондоне (в этом городе он нашел покровительство авторитетного священника русской церкви Я. И. Смирнова<sup>7</sup>) не только много дали Александру Алексеевичу в профессиональном плане, но и окончательно сформировали его как человека науки. Лекции и работа в лабораториях знаменитых профессоров, знакомство с европейскими научными институциями и системой образования (по поручению министра просвещения А. С. Шишкова Иовский в 1825 году составил обзор «О ходе и успехах Народного Просвещения в Германии, Франции и Англии») необычайно расширили его кругозор<sup>8</sup>.

Летом 1826 года Иовский вернулся в Россию и вскоре был утвержден адъюнктом и приступил к преподаванию в университете (вел курсы по химии и фармацевтике). Поселился он у Патриарших прудов и невольно оказался соседом И. И. Дмитриева, с которым у него завязалось близкое знакомство, продолжавшееся до смерти поэта.

В 1830-е годы Иовский быстро растет в чинах: надворный (1833), коллежский советник (1835, причем только с этого года он стал экстраординарным профессором) – полковничий чин, соответствовавший в то время званию академика. Кроме учебных и научных сочинений<sup>9</sup> Иовский в 1828–1832 годах издает «Вестник естественных наук и медицины» (в 1829 году как приложение к нему выходит «Журнал хозяйственной химии»), где в 1829 году дебютирует в печати 17-летний А. И. Герцен (Иовский был врачом в семье его отца, И. А. Яковлева). Во время эпидемии 1830–1831 годов Иовский возглавлял холерную больницу при университете, выпустил пособие «О болезни, называемой холерою, о лечении ее и предохранении себя от оной», получил монаршее благоволение; с 1836 года заведовал университетской аптекой.

Как автор многочисленных ученых трудов Иовский стал заметен и в литературном мире: отклики и рецензии на его книги появляются в «Мос-

---

<sup>7</sup> См. о нем: *Кросс Э. Г.* У Темзских берегов : Россияне в Британии в XVIII веке. СПб., 1996; по указателю.

<sup>8</sup> См. составленное по автобиографическим материалам самого Иовского подробное описание его занятий за границей в словаре профессоров Московского университета, занимающее почти всю содержательную часть статьи о нем (с. 360–362).

<sup>9</sup> Отметим важное для своего времени сочинение, имевшее большое значение, в частности, в судебной медицине: «Руководство к распознаванию ядов, противоядий и к верхнейшему определению первых как в организме, так и вне оно, посредством химических средств, названных реактивными» (М., 1834).

ковском телеграфе», «Сыне отечества», «Северном архиве», позже – в «Библиотеке для чтения». При этом прочных связей в писательских кругах, как и в московском светском обществе, он, судя по всему, не установил, обращая преимущественно в университетской и профессиональной среде. Из его писем к Вяземскому можно сделать вывод, что Иовский пережил какие-то личные неприятности и столкнулся с недоброжелательным отношением влиятельных людей.

Возможно, у Иовского сложились и напряженные родственные отношения. По всей видимости, у него был брат Петр Алексеевич, в 1830-е годы тоже служивший в Московском университете: «адъюнкт по кафедре права политического и народного, магистр нравственных и политических наук, по смерти профессора Цветаева, с февраля 1835 г. читал право политическое и народное, а в первой половине 1835/6 академического года российское государственное право <...> В это время он был и секретарем отделения нравственных и политических наук. С новым образованием кафедр юридического факультета Иовский выбыл из Московского университета»<sup>10</sup>. Петр Иовский напечатал ряд работ по теории финансов и вопросам государственного и общественного устройства, а также пробовал свои силы в различных литературных жанрах, вплоть до исторической и нравоописательной романистики. Дебютировал он еще университетским студентом в «Вестнике Европы»: в 1820 году с продолжением печатается его обширное исследование «Сравнение внутренней и внешней торговли» (№№ 20–23), а в двух первых номерах 1821 года – сочинение «О коренных постановлениях России как причине ее непоколебимого благоденствия», обозначенное как «Приветствие Отечеству в новый год». Позже вышла его брошюра «Рассуждение о соразмерности налогов со способами каждого из платящих, сочиненное Отделением наук нравственно-политических кандидатом Петром Иовским для получения степени магистра» (М., 1825), а последняя известная его публикация – «Записки о природе, человеке и обществе» (М., 1845)<sup>11</sup>. Главными его трудами была книга «О монархическом правлении» (М., 1826)<sup>12</sup> и сборник разножанровых текстов «Элизиум, аль-

---

<sup>10</sup> Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Московского университета. Ч. I. С. 364.

<sup>11</sup> См.: Венгеров С. А. Источники словаря русских писателей. СПб., 1910. Т. 2. С. 527, где отмечены отклики на эти «Записки» в «Современнике» (1845. Т. 40) и «Отечественных записках» (1845. Т. 42).

<sup>12</sup> Вышла в типографии П. Кузнецова; цензурное разрешение от 3 июня 1826 г., за месяц с небольшим до казни пятерых декабристов. Наряду с традиционной университетской ученостью, в этой книге, как и в альманахе «Элизиум», автор выказывает свое англофильство (ста-

манах на 1832 год. Сочинение П. Иовского» (М., 1832; разрешение цензора С. Т. Аксакова от 9 сентября 1831 года)<sup>13</sup>.

Однако в жизни П. А. Иовского произошло неприятное событие. В конце 1823 года было перлюстрировано письмо студента Иовского (он учился в Московском университете в 1819–1825 годах) к Г. В. Квитке-Основьяненко с резкими отзывами о распространении духа военщины («варварский бранноносный дух») в системе образования России. Письмо представили лично А. А. Аракчееву, который докладывал о нем Александру I<sup>14</sup>. Император повелел «обратить на Иовского особенное внимание», и студент был взят под гласный надзор полиции, что не помешало ему получить степень магистра и устроиться в канцелярию министра народного просвещения. Способностями П. А. Иовского начальство было

бильное общественное устройство, опирающееся на технократию); свое кредо формулирует так: «Монархия есть великое народное семейство единодушия, дружества, любви, мира и счастья». По его мнению, республиканское правление провоцирует к раздорам и нестабильности, монархическое — стремится к миру и порядку. «История Англии и Франции преимущественно были для меня такими картинками, на которых ясно изображена сия святая истина, что власть монархическая необходима и спасительна для народов». Завершает книжку «отрывок из разговора политического» (с. 212–233) между *Д* и *Н* (выражает авторскую позицию) о степени допустимой свободы в обществе и в политических полемиках. *Н* объясняет: «В суждениях политических более всего участвует чувство сердца. Причина, заставляющая людей говорить о вещах политических, есть всегда почти неудовольствие против правительства, а особливо в нынешние времена она составляет почти единственную причину». Более же всего пагубны апелляции к «черни», которая падка на идеи не «глубокомысленные», а «льстивые»; в этой связи автор апеллирует к опыту Франции: «Когда во Франции позволена была совершенная вольность тиснения, тогда революция гораздо быстрее приближалась, нежели того ожидали преобразователи, и она была такова, какой совсем не воображали и от которой сами они наконец содрогнулись». Прагматика книги, конечно, в заявлении авторской лояльности, но при этом Петр Иовский воздерживается от прямых филиппик в адрес бунтовщиков 14 декабря и старается выглядеть беспристрастным.

<sup>13</sup> Чтобы дать понятие о литературных трудах П. А. Иовского, считаем не лишним привести оглавление этого альманаха: Письмо к другу: О науках; Несколько мыслей о воспитании; Отрывки из романа: Траурный билет <герой Вельский приезжает из столицы в провинцию; Губернские страсти: романы, дуэль...>; Разные мысли; Анекдоты; О разных политических предметах <статья: Взгляд на политику прежних времен; Листок из новейшей Истории; О Французской Революции; О науке права Естественного; Об истории; О процентах; О машинах>; Война раков с лягушками. Фантазия (Подражание Гомеровою Ватроахиомани) <в прозе>; Еще несколько анекдотов; Две главы из Исторического романа: Бирон, Герцог Курляндский; Отрывок из комедии: Магистр, или Вот те-на!; Смертный обморок. Повесть; О свободе торговли; Соблазнитель. Повесть; Смесь. — Всего 316 с.

<sup>14</sup> Весь этот сюжет излагается по делу III Отделения, заведенному на П. А. Иовского (ГА РФ. 109. 1-я экспедиция. 1829. Оп. 4. № 329). Юный П. Иовский в 1818 году под покровительством Г. В. Квитки разрабатывал в Харькове проект училища-пансиона «для истинно благородного воспитания дворянства», вместо которого решено было открыть кадетские корпуса.

довольно, но какой-то скандал в 1828 году заставил уволить его с перспективного места в министерской канцелярии. Более того, вновь об Иовском докладывали императору. Николай I приказал оставить его на службе «под строгим присмотром». «Иовский, не имея никакого состояния и никаких способов к содержанию себя, доведен ныне до крайности и отчаяния от тягостного над ним надзора, по которому он не может получить соответственно способностям и сведениям его места с достойным для своего содержания жалованием»<sup>15</sup>, – докладывал в 1829 году С. Г. Строганов А. Х. Бенкендорфу. Дело обсуждалось двумя министрами, столичным генерал-губернатором П. В. Голенищевым-Кутузовым и Бенкендорфом; не числа за Иовским особых прегрешений, восстановить его репутацию и освободить от надзора (хотя бы гласного) оказалось нелегко. Судьба была сломана; в середине 1830-х годов краткая служба в университете, вновь увольнение, возвращение в Петербург.

Возможно, эти неприятности осложнили отношения между братьями, А. А. Иовский в своих воспоминаниях даже не упоминает о Петре, хотя, казалось бы, и он мог войти в круг Дмитриева – по своим литературным и научным интересам он мог бы стать для отставного министра собеседником не хуже своего брата.

Со смертью Дмитриева, последовавшей 3 октября 1837 года, А. А. Иовский лишился своего многолетнего благодетеля, но это печальное событие способствовало установлению его связей с П. А. Вяземским.

Получив в Петербурге известие о смерти старого поэта, Вяземский 9 октября отправляет предписание своему поверенному в хозяйственных делах Демиду Муромцеву собрать по возможности более полные сведения об обстоятельствах болезни и кончины Дмитриева. 13 октября Муромцев высылает князю «показания», записанные со слов камердинера Дмитриева, Николая. В них главными лечащими врачами названы Ф. П. Гааз и А. А. Иовский<sup>16</sup>. С Иовским Вяземский был немного знаком через Дмитриева, но имени-отчества его не помнил и решил справиться у В. Ф. Одоевского: «Не знаете ли, как прозывается московский доктор Иовский, некогда издававший медицинский журнал, и приятель Ив. Ив. Он был и при смерти его, и мне хочется потребовать от него подробностей»<sup>17</sup>. Возможно, так и

<sup>15</sup> ГА РФ. 109. 1-я экспедиция ... № 329.

<sup>16</sup> Грот К. Я. К биографии И. И. Дмитриева ... С. 40. Ср. письмо М. П. Погодина от 13 октября 1837 года племяннику Дмитриева (*Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. 2-е изд. М., 1869. С. 154–155).

<sup>17</sup> Из собрания автографов имп. Публичной библиотеки. СПб., 1898. С. 83.

не получив нужную информацию, 17 октября Вяземский все же пишет Иовскому, и тот отвечает 26 октября пространным письмом, подробно описывая скоротечную смертельную болезнь Дмитриева и его похороны. При этом Иовский считает нужным напомнить, что 12 лет пользовался симпатией и покровительством Дмитриева, и упомянуть о своих непростых жизненных обстоятельствах: «В продолжение 12 лет я испытал и жестокость потерь семейных, и много, много горя; но я видел всегда у себя и с собою Ивана Ивановича. Это единственный утешитель, который не раз спасал меня, чтобы я не упал совсем духом. Ах! как он любил меня и как жестока для меня потеря его!» И в конце письма еще раз повторяет, что о нем Иван Иванович «бескорыстно, по одному только чувству своего сердца, заботился, как о близком родном в продолжение 12 лет»<sup>18</sup>.

В конце октября в Москву приезжает В. А. Жуковский, сопровождавший наследника престола в путешествии по России. Вяземский спешит дать ему поручение: «Отыщи в Москве доктора Иовского, узнаешь о нем в доме Ивана Ивановича. Он был очень близкий ему человек, Дмитриев любил и уважал его и часто с ним бывал. От него можешь многое узнать, а также и о подробностях последних дней его. Я собираюсь написать о Дмитриеве. Как мне больно, что я не записывал всех разговоров его со мною, то есть всех рассказов. Это были бы живые комментарии к Запискам его, которые писаны *чистосердечно*, но не *откровенно*. Спроси Иовского, не вел ли он журнала и не записывал ли он слышанное им от Дмитриева?» (Письмо от 2 ноября 1837<sup>19</sup>.)

Одновременно Вяземский получает письма от другого «домашнего» человека И. И. Дмитриева – писателя Н. Д. Иванчина-Писарева, который призывает Вяземского исполнить «волю покойного Ивана Ивановича написанием его биографии» и высылает в качестве материала для этой работы свои разрозненные воспоминания. В них, между прочим, он напомнил историю разорившегося московского книгопродавца и издателя П. Кузнецова, о котором хлопотал Дмитриев<sup>20</sup>. Просьба в память о Дмитриеве помочь Кузнецову не оставила Вяземского безучастным, более того, в этой связи он подумал о возможности в чем-то посодействовать и Иовскому. 11 ноября Вяземский просит Жуковского хлопотать за Кузнецова, «в котором Дмитриев принимал живейшее участие», и добавляет: «Пошли и за докто-

<sup>18</sup> Грот К. Я. К биографии И. И. Дмитриева ... С. 34, 37.

<sup>19</sup> Русский архив. 1900. № 3. С. 382 (с уточнением по подлиннику: РО ИРЛИ. Собрание А. Ф. Онегина. 27.985. Л. 77).

<sup>20</sup> Грот К. Я. К биографии И. И. Дмитриева ... С. 28. Здесь же см. коммент. о хлопотах Дмитриева и Вяземского за Кузнецова.

ром Иовским. Его также завещал Дмитриев дружбе нашей. Может быть, и ему успеешь в чем-нибудь помочь. <...> Дмитриев скажет тебе спасибо оттуда, где добрые дела и добрые намерения не пропадают»<sup>21</sup>.

Неизвестно, встретился ли Жуковский с Иовским и сделал ли для него что-либо. В течение последующих шести лет Иовский в университете «читал фармацию на 2 курсе, на третьем фармакологию с токсикологию, с изъяснением минеральных вод и рецептурою, по 1842/3 академический год включительно, когда по прошению был уволен в отставку»<sup>22</sup>. В 1837–1838 годах выходят последние книги Иовского, по темам его университетских курсов: «Памятная книжка для занимающихся фармациею и рецептурою» и «Начертание фармации». За свои труды и беспорочную службу Иовский получает благодарности министра народного просвещения и попечителя учебного округа, а в 1840 году – благодарность министра внутренних дел за представленную им записку с предложениями по улучшению системы «народного продовольствия». В том же году Иовский был произведен в статские советники<sup>23</sup>. Вероятно, он приобрел какое-то имение в Орловской губернии и в этой связи оказался втянут в судебные разбирательства.

Ища влиятельной поддержки, он в 1842 году обращается за помощью к Вяземскому. Первое его письмо с описанием существа дела в бумагах Вяземского не сохранилось – по всей видимости, оно было передано князем министру внутренних дел Л. А. Перовскому с просьбой помочь. Министр принял дело на заметку, о чем Вяземский сообщил Иовскому. 28 августа 1842 года Иовский, приехавший хлопотать в Орел, уже благодарит Вяземского и сообщает, что в результате «ордера г. министра к орловскому прокурору» в его деле произошла «большая перемена», тем более что в губернии в это время проводил ревизию сенатор Д. Н. Бегичев, устроивший разнос местным чиновникам («но Бегичев уедет, новые члены <губернского управления> вспомнят о старой колее, и опять то же и опять старое!» – опасается Иовский)<sup>24</sup>.

Наступивший учебный год был последним в преподавательской карьере Иовского. В его аттестате отмечено, что в 1843 году он «по своей просьбе за болезнь <...> уволен от службы при Университете с производ-

---

<sup>21</sup> Русский архив. 1900. № 3. С. 384.

<sup>22</sup> Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Московского университета. Ч. I. С. 363.

<sup>23</sup> РГБ. Ф. 231/IV.1.38. Вновь отметим пожалование генеральского (и «ректорского») чина при невысокой должности экстраординарного профессора.

<sup>24</sup> РГАЛИ. Ф. 195.1.1966. Л. 1–2.



ством за свыше 20-летнюю службу по учебной части полной пенсии 1000 руб. 72 коп. сер[ебром] в год»<sup>25</sup>.

Выйдя в отставку, Иовский уезжает в Орловскую губернию, где селится в местечке Ливны. Его судебная тяжба продолжается, и отставной профессор вновь прибегает к помощи Вяземского, 10 сентября 1844 года отправляя через него «жалобу к министру внутренних дел». При этом он сообщает о себе: «Вот уже другой год, как я в глуши и в глуши совершенной, несмотря на расстояние 350 верст от Москвы, где довольно уже рассеяно понятий, прокаленных в горниле просвещения и образованности. О, как страшно мне было ехать сюда, я писал об этом прошлого года Вашему сиятельству. Часто вспоминаю я, что “где грамота, там просвещение, где просвещение, там добро”<sup>26</sup>. Некогда я переделал этот стих так: где закон, там просвещение, но это нелепость. Не просвещение от закона, а закон от просвещения понятен, ясен, чист. Дикий не понимает обязательств общества гражданского, а гражданственность только с просвещением является; тогда и законы суть законы. Теперь мне само собою выяснилось, что Поэт лучше меня понимал общество. – Общество – как оно мудрено. Возле меня живут три соседа, которые, кажется, меня любят – люди, которые никогда не думали и не воображали, что есть еще птица, называемая Литературою, что эта птица также иногда хорошо поет, как соловей весною. Но эти люди искренно верят, что с того времени, как стали мальчиков учить грамоте, стал хуже родиться хлеб<sup>27</sup> и т. п. Не воображайте, чтобы это были люди старые – нисколько. Старшему из них не более 50 лет. Но и то счастье, что они не подьячие. А подьячих здесь довольно, и достается от них всем сестрам по серьгам. Знать их – грустно, а не знать – еще приходится грустнее. Как хочешь, не отвертишься, как скоро промолвят: “он знать нас не хочет, он горд – посмотрим”. И смотри – быть беде или неудовольствию. Ежели, как помню, А. П. Ермолов горько

---

<sup>25</sup> РГБ. Ф. 231/IV.1.38. К началу 1840-х годов относится попытка Иовского наладить сотрудничество с «Москвитянином» в качестве автора мелких естественнонаучных материалов (см. два его письма к М. П. Погодину: РГБ. Ф. 231/III.14.13).

<sup>26</sup> Иовский цитирует стихотворение Вяземского «1828 год».

<sup>27</sup> Аллюзия к первой сатире Кантемира «На хулящих учения», где Силван утверждает: «Гораздо в невежестве больше хлеба жали» и т. д.

жаловался на них<sup>28</sup>, то мне не мудрено. В продолжении года я иногда терпел порядочно, но теперь уже терплю слишком больно»<sup>29</sup>.

Возлагая «полную надежду» на помощь Вяземского, Иовский апеллирует к памяти Дмитриева: «Надежда моя на неизгладимое для меня выражение письма вашего: дружба наша к И. И. Дмитриеву должна нас связывать». Жалуясь на несносную скуку и «судебную расправу», вгоняющие его в болезни, Иовский говорит о возникающем у него желании вернуться на службу, «приютиться к какому-либо министру, хоть по особым поручениям». На этом письме Вяземский сделал помету: «Послал письмо к Перовскому с запискою от себя 25 сент., отвечал 14 окт., что писано Орловскому губер<натору> от 5 октября за № 4714 – и просил воспоминаний о И. Ив. Дмитриеве»<sup>30</sup>. В ответ на это письмо Вяземского от 14 октября 1844 года Иовский начинает сообщать ему свои воспоминания о Дмитриеве.

О последнем десятилетии жизни Иовского мы почти ничего не знаем. Копия его аттестата из бумаг М. П. Погодина завершается такой записью: «Умер в 1856 году; жена получала таковую же пенсию <назначенную Иовскому в 1843 году> по день смерти 1865 года ноября 30-го дня; ныне осталась больная дочь девица 22 лет и не имеющая никакого состояния»<sup>31</sup>.

Вяземский обращался к хранившимся у него бумагам Иовского, сделал из них выписку о Гоголе, но не стал использовать ее ни в статье «Иван Иванович Дмитриев» (1866), ни в мелких мемуарных публикациях. Спустя век в приговорительных материалах Вяземского эту выписку обнаружил М. И. Гиллельсон и напечатал, сочтя текстом Вяземского 1866 года<sup>32</sup>. С тех пор этот колоритный фрагмент нередко приводится в критической и биографической литературе о Гоголе в качестве рассказа Вяземского<sup>33</sup>. Отведение его авторства не означает автоматическую дискредитацию самого мемуарного источника, но заставляет произвести его переоценку.

---

<sup>28</sup> После своей отставки Ермолов в 1827–1831 годах жил у отца в Орле, и в губернии долго ходили рассказы о выдающемся генерале. Об интересе Дмитриева к литературным занятиям Ермолова см. в публикуемом ниже очерке «Домашний быт И. И. Дмитриева».

<sup>29</sup> РГАЛИ. Ф. 195.1.1966. Л. 3–4 об.

<sup>30</sup> Там же.

<sup>31</sup> РГБ. Ф. 231/IV.1.38.

<sup>32</sup> Гиллельсон М. И., Мануйлов В. А., Степанов А. Н. Гоголь в Петербурге. Лениздат, 1961. С. 115–116. (От слов «...но встреча с Пушкиным и Гоголем» до слов «в нем будет прок»; см. в очерке «Домашний быт И. И. Дмитриева».)

<sup>33</sup> Например: *Машинский С.* Художественный мир Гоголя. М., 1979. С. 77; *Манн Ю.* «Сквозь видный миру смех...»: Жизнь Н. В. Гоголя. 1809–1835. М., 1994. С. 314.

\* \* \*

В целом, мемуарные свидетельства Иовского о Дмитриеве выглядят вполне правдиво. Конечно, датировки того или иного рассказа или встречи определены весьма условно, как в большинстве воспоминаний (за исключением небольших «подневных» подборок, составленных М. П. Погодиным и П. А. Вяземским по свежим следам встреч с Дмитриевым), но добросовестность Иовского почти не вызывает сомнения. Впрочем, во многом он сообщает то, что хорошо известно о двух последних десятилетиях жизни Дмитриева, но иначе не могло и быть – жизнь эта проходила на виду и приковывала к себе пристальное внимание. Дмитриев сам выбирал, что должно остаться о нем в памяти следующих поколений, и умело манипулировал мемуаристами, провоцируя их многократно повторять одни и те же сюжеты, в кругу которых находятся и воспоминания Иовского.

Они принадлежат к корпусу мемуаристики восторженной, создающей образ благородного и честного сановника, патриарха отечественной словесности, хорошо знающего цену людям и себе самому, но всегда сдержанного и несуетного; образ нравственного арбитра в обществе, речение об успехах которого он добровольно возложил на себя как этический долг гражданина. Арбитр должен быть на виду, его авторитет определяется не только внешними заслугами, но и опытом жизни, дающей образец другим, а следовательно, им известной. Дмитриев представил себя обществу во «Взгляде на мою жизнь». Вяземский сетовал, что эти записки написаны «в мундире»<sup>34</sup>, но в мундире не столько министра и сенатора, сколько образцового гражданина. В дне сегодняшнем и в своем кругу Дмитриев боролся за близкие ему принципы, пытаясь формировать общественное мнение, создавая и ниспровергая репутации, и был «беспощадный подглядатай и ловец всего смешного» (Вяземский. Т. 8. С. 174), чего многие современники с огорчением не нашли в его записках. Предъявляя себя читателю, Дмитриев желал быть дидактичен. Свое жизнеописание, раздробив его на сюжетные фрагменты, он широко тиражировал – консультируя своего первого биографа Вяземского («Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева», 1821, опубл. 1823), готовя справку для «Учебной книги» Н. И. Греча (1821), позже распространяя копии избранных страниц

---

<sup>34</sup> Вяземский П. А. Полное собрание сочинений СПб., 1888. Т. 9. С. 36.

«Взгляда...», зачитывая и пересказывая их на своих вечерах. Даже не читавшие его мемуаров знали то, что Дмитриев хотел в них подчеркнуть<sup>35</sup>.

Во многом на таких «общих темах» и строятся воспоминания Иовского. В первом мемуарном письме от 8 ноября 1844 года он рассказывает Вяземскому о своем знакомстве с Дмитриевым. Главная тема – популярность Дмитриева «в учебных местах», поощрение им стремления к просвещению и литературных увлечений во всех кругах общества. Эта черта выделялась и в некрологе С. П. Шевырева: «Не было ни одного значительного ученого или литературного собрания, в котором он не принял бы живого участия, которого не почтил бы своим присутствием <...>. Мы помним еще недавно, как он присутствовал на ученых диспутах Московского университета <...>. На концертах, на актах пансионатов и университета, всюду где только бывал случай заметить первый рассвет дарования, новую надежду литературы или науки, он являлся тут, вмняя это себе в какую-то строгую, нравственную обязанность» и т. д.<sup>36</sup>

Среди важных новых данных к биографии Дмитриева, которые приводит Иовский, внимания заслуживает сообщение об участии Дмитриева в «Вестнике естественных наук и медицины» (Грот. С. 37). Тут напечатан очерк «Анатомический Амфитеатр»<sup>37</sup> – перевод из «Картин Парижа» Л. С. Мерсье<sup>38</sup>. Как известно, Дмитриев переводил Мерсье еще в начале своих литературных занятий – в 1786 году в журнале «Зеркало света» (ч. 3. № 1) был помещен его перевод «Философ, живущий у хлебного рынку» (отд. изд.: 1786, 1787, 1792).

Центральной темой рассказа Иовского о министерском служении Дмитриева стал проект о необходимости аттестата для получения гражданскими чиновниками 8-го класса по табели о рангах (коллежского асессора, первого штаб-офицерского чина по военной номенклатуре). Подобный указ был утвержден 6 августа 1809 года, и готовил его М. М. Сперанский, что было общеизвестно. Сам Иовский правильно называет его «указом 1809 г.», при этом настойчиво приписывая авторство Дмитриеву, и даже рисует сцену «в лицах» его беседы с Александром I об этом указе («Спасибо,

---

<sup>35</sup> См., например, «правильно» составленный С. П. Шевыревым некролог Дмитриева (Московские ведомости. 1837. № 83, 16 октября), который так высоко оценил Вяземский – именно за точность отбора знаковых аспектов.

<sup>36</sup> Там же. С. 610. Ср.: Сушков Н. В. Московский университетский Благородный пансион. М., 1858. С. 36.

<sup>37</sup> Вестник естественных наук и медицины. 1828. № 8. С. 417–428.

<sup>38</sup> См.: Mercier L. S. Tableaux de Paris / Ed. J.-C. Bonnet. P.: Mercure de France, 1994. Т. 1. P. 172–189.

И. Иванович. Весьма тебе благодарен» и т. д.). Однако же министерство Дмитриева началось с января 1810 года, в 1809 году он жил в Москве и к закону Сперанского никакого отношения не имел. Что здесь – aberrация памяти мемуариста или сознательный вымысел? Второе маловероятно. Постараемся разобраться в причинах возникшего у Иовского смещения фактов<sup>39</sup>.

Само внимание, которое мемуарист уделяет данному вопросу, говорит о том, что эта тема была нередкой в рассказах Дмитриева. О чем же он мог поведать молодому собеседнику? Действительно, в должности министра Дмитриев принимал участие в разработке нормативных положений по применению указа 1809 года. 10 апреля 1812 года Александр I создал особый комитет для «составления общих по всем частям гражданской службы правил, для какого рода службы каких именно наук познание нужно, дабы, определив то, подвергать при производстве в чины экзамену, с сим сообразному»<sup>40</sup>. В состав комитета вошли министр народного просвещения А. К. Разумовский, министр юстиции И. И. Дмитриев, министр внутренних дел О. П. Козодавлев и государственный контролер Б. Б. Кампенгаузен. Обсуждение проблемы вскоре сосредоточилось на вопросе о целесообразности сохранения существующей системы чинов в принципе. Свои предложения комитет сформулировал только осенью 1814 года, уже после отставки Дмитриева (новый министр юстиции Д. П. Трошинский представил свое особое мнение по этим предложениям). Но Дмитриев работал над образовательными проектами еще до создания особого комитета. В своих записках он рассказывает, что, приняв в 1810 году министерство, понял необходимость реформирования содержательной структуры как его подразделений, так и Сената, а также системы назначения на должности. При этом встал вопрос об улучшении подготовки чиновников. «Сверх того, – вспоминает Дмитриев, – я признавал весьма полезным учредить в разных местах империи училища законоведения со всеми принадлежащими к тому пособиями для дворянских, купеческих и мещанских детей, с тем, чтоб отличившихся в успехах, по достижении двадцатилетнего возраста, воспитанников из дворянского сословия выпускать с чином губернского секретаря».

---

<sup>39</sup> В бытность Дмитриева министром молва приписывала ему проект двукратного сокращения многочисленного, но малоэффективного корпуса чиновников. См. донесение Я. Де Санглена в марте 1813 года: *Дубровин Н.* Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I (1807–1829). М., 2006. С. 101.

<sup>40</sup> *Шелелев Л. Е.* Титулы, мундиры и ордена Российской империи. СПб., 2005. С. 162.

ря, а прочих с похвальным аттестатом и правом вступления в гражданскую службу обыкновенным порядком.

При надлежащем надзоре за таковыми училищами можно было бы, чрез десять лет по учреждении оных, постановить, чтоб никого из стряпчих не допускать к хождению по делам без одобрительного свидетельства от одного из сих училищ.

Таким образом невежество и ученичество мало по малу истребилось бы совершенно между судьями и приказными служителями, да и самые стряпчие были бы поставлены в необходимость усовершенствовать себя в законоведении и учиться грамматическим правилам отечественного языка» (Взгляд... С. 185–186).

Завершая рассказ о своих первых министерских проектах, Дмитриев сообщает: «Все сии замечания и предположения были плодом наблюдений моих в продолжении обер-прокурорской и сенаторской службы...» Это утверждение почти буквально и воспроизводит Иовский в своем очерке. Но Дмитриев продолжает: «...оставалось бы представить их на высочайшее благоусмотрение Государя, но мне еще в первые дни вступления моего в министерство сказано было, или дано почувствовать, что все нововведения должно отложить до рассмотрения проекта нового образования двух Сенатов: Правительствующего и Судебного...» (Взгляд... С. 186.)

Таким образом, Дмитриев не выступал с законодательной инициативой по повышению образовательного уровня чиновничества, но обдумывал эти вопросы. Причем, скорее всего, не в плоскости обязательных экзаменов, как предписывал проект Сперанского, а в плане увеличения числа образовательных учреждений, особенно в провинции. Позиция Дмитриева и обстоятельства, ее сформировавшие, заслуживают особого внимания.

Дмитриев пишет, что пришел к подобным заключениям еще до 1810 года. Нам представляется возможным уточнить – под влиянием идей Карамзина. Действительно, 1809–1811 годы – время интенсивных размышлений Карамзина о системе просвещения в связи с общими проблемами государственного устройства России. В это время Карамзина упорно прочат в министры народного просвещения, более тесным становится его общение с группой профессоров, оппозиционных куратору Московского университета и давнему недоброжелателю Карамзина П. И. Голенищеву-Кутузову<sup>41</sup>. В этой связи реакция Карамзина на указ 6 августа 1809 года была заинтересованной и почти что «профессиональной». Можно с уверенностью предпо-

---

<sup>41</sup> См.: Андреев А. Ю. Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX века. М., 2000. С. 119–130.

ложить, что обсуждение этого закона было предметом бесед Карамзина с Дмитриевым в 1809 году, непосредственно перед вызовом Дмитриева в Петербург на министерство.

Как известно, отношение Карамзина к этому указу было критическим. Он видел в нем проявление общих недостатков законотворческой деятельности Сперанского, главный из которых заключался в оторванности либеральных проектов от реалий российской действительности. Суммировал свои претензии Карамзин в «Записке о древней и новой России», представленной в 1811 году Александру I. В ней он иронизировал: «У нас председатель Гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский – свойства кислорода и всех газов. Вице-губернатор – пифагорову фигуру, надзиратель в доме сумасшедших – римское право, или умрут коллежскими и титулярными советниками. Ни 40-летняя деятельность государственная, ни важные заслуги не освобождают от долга знать вещи, совсем для нас чуждые и бесполезные»<sup>42</sup>. При этом Карамзин обращал внимание на низкий по сравнению с Европой статус образования во всех слоях русского общества, отсутствие даже в дворянском сословии элементарного просвещения. По мысли Карамзина, приоритетное развитие высшего университетского образования, к которому указ 1809 года привязывал чиновничество, – для России пока еще ненужная «роскошь»: «Строить, покупать дома для университетов, заводить библиотеки, кабинеты, ученые общества, призывать знаменитых иноземных астрономов, филологов – есть пускать в глаза пыль». Он предлагает другой вариант: «Вместо 60 профессоров, приехавших из Германии в Москву и другие города, я вызвал бы не более 20 и не пожалел бы денег для умножения числа казенных питомцев в гимназиях; скудные родители, отдавая туда сыновей, благословляли бы милость государя, и призренная бедность через 10, 15 лет произвела бы в России ученое состояние. Смею сказать, что нет иного действительнейшего средства для успеха в сем намерении»<sup>43</sup>. Связь карамзинских рассуждений с проектом Дмитриева развивать сеть провинциальных училищ, рассчитывая на отдачу «через десять лет», кажется очевидной.

В декабре 1809 года в короткий приезд в Москву Александр I посетил, первым из российских монархов, университет, что не могло не повысить внимания общества к «университетской» теме. При этом и Карамзин, и

---

<sup>42</sup> Карамзин Н. М. Полное собрание сочинений : в 18 т. М., 2008. Т. 17. С. 180. Ср. суждение П. А. Вяземского о «несовершенстве образования» для подготовки русских чиновников в статье «Сперанский» (1861) (Т. 7. С. 79).

<sup>43</sup> Там же. С. 178–179.

Дмитриев к тогдашнему состоянию университета (попечителем московского учебного округа был А. К. Разумовский, а должность правителя его канцелярии, дававшую немалый вес в университетских делах, занимал враждебно настроенный по отношению к Дмитриеву М. Т. Каченовский) относились скептически, в чем могли только укрепиться с назначением в 1810 году Голенищева-Кутузова его куратором. А ведь именно университетской администрации была поручена организация курсов для чиновников и проведение экзаменов на чин. В это же время Карамзин находит поддержку в лице великой княгини Екатерины Павловны, которая сочувственно воспринимает общественные теории историографа и пытается лоббировать их перед братом-императором. Полагаем, что в этом контексте и следует рассматривать проект министра Дмитриева о развитии училищ.

С годами актуальность этого вопроса для Дмитриева утратилась, а вместе с тем сгладились и отношения к указу 6 августа 1809 года. В своих записках он упоминает о нем в контексте ставших к тому времени общим местом утверждений об успехах просвещения при воцарении Александра I: «Ни одно царствование не имело столь блистательного начала». Напомнив об открытии новых университетов и других учебных заведений, попечении о различных обществах и научных изысканиях, Дмитриев заключает: «Все таковые по ученой части приращения, всенародные лекции и закон о производстве в осьмой и пятой классы только тех, которые выдержат испытание и получают одобрительное свидетельство в академическом образовании, не мало послужили впоследствии к распространению любви к словесности и просвещению во всей империи» (Взгляд... С. 180). Вероятно, в таком обобщенном плане он и рассуждал в поздние годы об этом указе, но само повышенное внимание к проблеме, запомнившееся Иовскому, было отражением лежавших несколько в ином ключе реформаторских планов 1809–1811 годов, идеологом которых являлся Карамзин.

Из литературных сюжетов, которых касается Иовский, стоит отметить запомнившиеся мемуаристу дебаты в доме Дмитриева о новомодном тогда романтизме. Это находит точное соответствие в записках Ф. Ф. Вигеля, где упоминается подобный «сильный спор» «о романтизме и классицизме» на званом обеде у Дмитриева в начале 1827 года<sup>44</sup>.

Иовский сообщает и о хорошо известной антипатии Дмитриева к Н. А. Полевому. Резко отрицательное отношение к издателю «Московского телеграфа» окончательно определилось в кругу Дмитриева к 1829 году, когда Полевой выступил с критикой «Истории государства Российского»

---

<sup>44</sup> Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2003. Кн. 2. С. 1231.



Карамзина, противопоставив ей сочинявшуюся им самим «Историю русского народа»<sup>45</sup>. Но претензии к Полевому не ограничивались его антикарамзинизмом: он раздражал «партию» Дмитриева и в качестве пропагандиста «народности» и «истинного» романтизма в литературе. Низвержение Полевым авторитета классической литературы рассматривалось как сотрясение основ современной культуры. В. Л. Пушкин сообщал в письме Вяземскому: «Полевые пишут непрестанно нелепости насчет французской литературы, с презрением говорят о Гомере, называют Анакреона пьяницею, а Горация шалуном, восхищаются Фальстафом и уродливыми творениями Шекспира. Это происходит оттого, что они французской литературы не понимают, да и в Шекспире любят только то, чего любить не должно. Барон Екстейн их свел с ума, но что такое Екстейн на поприще литературы? Можно ли почитать его образцовым критиком и верить его суждениям?»<sup>46</sup> Такой же смысл имеет воспроизводимое Иовским раздражение Дмитриева по поводу «батёвщины» и «лагарповщины» как новой непросвещенной моды, вводимой «Московским телеграфом». Тут читается прямая отсылка к одной из статей Н. А. Полевого, в которой он иронизировал над «Зороастром-Баттё» и «Аристотелем-Лагарпом»<sup>47</sup>.

В «демократизме» Полевого карамзинисты видели выражение «купеческого» безвкусия, а романтическая атака на авторитеты воспринималась ими как непристойные выходки необразованного мужлана, потакающего «черни». Вяземский причислял Полевого к «литературным наездникам, каким-то кондотьери, ниспровергателям законных литературных властей. Он из первых приучил публику смотреть равнодушно, а иногда и с удовольствием, как кидают грязью в имена, освященные славою и общим уважением, как, например, в имена Карамзина, Жуковского, Дмитриева, Пушкина»<sup>48</sup>. Вяземского возмущали не только статьи, но и литературно-бытовые «выходки» недавнего соратника по «Московскому телеграфу»: «Скотина Полевой имел наглость написать в альбом жены Карлгофа стихи под заглавием: “Поэтический анахронизм, или стихи в роде Василия Львовича Пушкина и Ивана Ивановича Дмитриева, писанные в XIX веке”. Как везде видишь целовальника и лакея, не знающего ни приличия, ни скромности. Посади сви-

---

<sup>45</sup> Об участии Дмитриева в спорах вокруг карамзинской «Истории», в том числе полемике с Полевым, см.: *Козлов В. П.* «История государства Российского» Н. М. Карамзина в оценках современников. М., 1989; по указателю.

<sup>46</sup> Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1983. Т. XI. С. 236.

<sup>47</sup> *Полевой Н. А., Полевой К. А.* Литературная критика. Л., 1990. С. 57 (статья «Взгляд на некоторые журналы и газеты русские» из «Московского телеграфа». 1831. № 1).

<sup>48</sup> *Вяземский П. А.* Записные книжки. 1813–1848. М., 1963. С. 287.

нюю за стол, она и ноги на стол. Да и каков литератор, который шутит стихами Дмитриева, и какими стихами еще:

Гостиная – альбом,  
Паркет и зала с позолотой  
Так пахнут скукой и зевотой.

*Паркет пахнет зевотой!*<sup>49</sup>

Готовя эту запись к публикации, Вяземский пояснил: «Что за галиматья! А какое отсутствие вкуса и приличий, литературное бесстыдство в глумлении подобными стихами над изящными и образцовыми стихами Дмитриева» (Т. 8. С. 191). Как вспоминал А. И. Герцен, «<с>тарик Дмитриев, поэт и бывший министр юстиции, с грустью и ужасом говорил о литературной анархии, которую вводил Полевой, лишенный чувства почтения к людям, заслуги коих признавались всей страной»<sup>50</sup>.

Н. А. Полевой, по всей видимости, именно Дмитриева рассматривал как знаковую фигуру враждебной ему культуры. И не только в эстетическом, но и в социальном плане – как оплот общественно-культурного «аристократизма», защитника предрассудков и вызывающих зевоту «анахронизмов». Подобный портрет Дмитриева последних лет жизни Полевой нарисовал в очерке 1836–1837 годов, где изобразил чванливого гордеца, пережившего свою литературную популярность и вымещающего злобу на слугах<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> Вяземский П. А. Записные книжки. 1813–1848. М., 1963. С. 215.

<sup>50</sup> Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Сочинения : в 9 т. М., 1956. Т. 3. С. 462–463. Ср. в записках Кс. Полевого о всегдашней «приязни» и уважении Дмитриева к «мнениям» его старшего брата (Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов. Л., 1934. С. 171–172).

<sup>51</sup> РГАЛИ. Ф. 2591.2.32. Этот очерк стал основой статьи Полевого в «Сыне отечества» (1838. Т. 5), где опущены биографические и «личностные» выпады.

**МЕМУАРНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА А. А. ИОВСКОГО  
ОБ И. И. ДМИТРИЕВЕ****I****Письма А. А. Иовского П. А. Вяземскому**

## 1

«Ваше Сиятельство Милостивый Государь.

Извещение ваше от 14 октября невыразимо обрадовало меня по многим отношениям. Невыразимо рад предложению вашему сообщить вам воспоминания мои об И. И. Дмитриеве. Он всегда над моею головою в моем кабинете и в голове и сердце, да и везде. Таких людей один раз только встречаешь в жизни, и память осуществляется ими навсегда – до могилы. – Это счастье жизни – для наполнения пустоты ея.

Чувство и душа, честность и добро – вот знамение человека – прекрасное, высокое знамение! Как обольщало меня это знамение в Тривемюйде\*, где я вынужден был (тому 18 лет прошло) с томлением ожидать две недели попутного ветра для возврата в Россию – в отечество мое. По приезде в Москву явилась ко мне особа уже преклонных лет, важной физиогномии и вместе невольно увлекающей к себе полною, безотчетною доверенностию. Это был И. И. Дмитриев. «Извините, я почел вас за Кн. А. И. Долгорукого\* и теперь вижу свою ошибку. Простите, может быть, я помешал вам в ваших занятиях». Нужно ли говорить, что мне казалось, будто бы само Провидение явилось предо мною, тем более, что мне грустно, очень грустно было по возврате моем из чужих краев в Москву. Химия моя занята была другим; оставалась на долю моей жизни медицина, которую как науку – как отрасль естественных наук – я обожал, а как ремесло – искусство собирать различными манерами деньги – очень не жаловал.

Я жил в Спиридоньевской улице, во флигеле дома Павлова\*, в нескольких только саженьях от И. И., окнами на улицу. Я находил какую-то отраду в моем положении заниматься у окна, и как комнаты мои были светлы до того, что с улицы, что в них происходило, все можно было видеть, то и не мудрено, что И. И., часто проезжая мимо меня, мог меня заметить. Вы знаете, что всякий с книгою в руке или с тетрадью – всякий пи-

шущий или читающий, начиная от Александра Анфимовича Орлова\* до Пушкина, был предметом самого чистого, искреннего внимания Ивана Ивановича. И я попал в эту категорию. На другой день нашего знакомства я обедал глаз на глаз с И. И. Обед этот, день этот никогда не изгладится из моей памяти.

Кто был студентом в Университете московском из воспитанников в Университетском пансионе в мое время, тот удостоверит вас так же, что акты, публичные экзамены и частные какие-либо собрания принимали какую-то особенную торжественность, ежели на этих актах или экзаменах или в собраниях присутствовал И. И. Дмитриев. При вопросе, каково у вас было на акте или экзамене, следовал ответ: все то же – делали вопросы, отвечали или читали речи, стихи, пропел хор и разошлись. Неужели и И. И. Дмитриева не было? Тут – сколько помню – начинались догадки, отчего И. И. Дмитриева не было. Или – у нас на акте было славно. И. И. присутствовал. Такой-то читал речь или стихи, и когда он кончил, то И. И. подозвал его к себе, долго говорил с ним и пригласил его к себе и пр. Он раздавал и медали.

Таково верование было в И. И. Дмитриева в учебных местах. Но – вот что мудрено – подобное же верование к нему было в самых высших\* слоях общества. Однажды – это было летом, спустя лет пять после знакомства моего с ним – мы пили кофе вверху на балконе. Не помню, что было причиною разговора, но помню, что ему очень неприятно было, когда прервали разговор его докладом, что какой-то мальчик просит позволения поднести ему стихи свои. Он опустил голову, подумал несколько мгновений и, улыбнувшись, сказал: «Может быть, какой-нибудь гений – принять». Человек вводит мальчика в изношенном нанковом длинном и широком сюртуке, в простых сапогах, от коих пахло дегтем, который подает ему тетрадь на синей бумаге в четвертку и который едва внятными трепещущим голосом пробормотал: «Стихи – стихи – вашему...» – «Хорошо, очень хорошо – я пересмотрю. Благодарю тебя, очень благодарю». Потом, обратившись ко мне и понизив голос, сказал: «Настоящий питомец Муз – издали пахнет Парнасом».

Взявши от мальчика стихи и перелистывая их, он расспросил его о звании, состоянии его, его родных и надеждах его. Помню, что это был сиротка, без отца, имеющий одну мать, и ту жившую у кого-то по найму, а сам он жил мальчиком у купца в сапожном ряду. Помню, что И. И. вынул из своего большого кармана бумажник, но потом опять вложил обратно, приказав человеку записать место жительства мальчика, а его, мальчика, просил побывать к нему через неделю.

По уходе мальчика, перелистывая тетрадь его, он примолвил: «Я хотел дать ему ассигнацию, но вспомнив о Кузмичеве\*, который разлакомился ходить ко мне за бумажками, я поспешил. Да и что пользы будет для него от моей бумажки: пролакомит, потом опять придет со стихами. Получив мало, захочет более, а потом не мудрено, разлакомившись, закрадется и в сундук хозяина своего. Рассмотрю, что за стихи, и ежели найдется что-нибудь такое, что бы показывало в нем дарование, то нельзя ли будет поместить его в гимназию. Во всяком случае, прибавил он, приятно, что мальчик из сапожного ряда занимается стихами. Я его не упущу из виду. Кстати о том, у меня еще есть любимец, который хотя сам стихов не пишет, но любит читать. А кто из купцов сидит с книгою, к тому я более имею доверия и охотно приступаю для покупки. Я верю, что он посовестится меня обмануть». В это время он мне рассказал о своем купце – Третьякове\*, у которого он брал чай, сахар и пр. и у коего он рекомендовал мне также покупать. Этот Третьяков торговал на Ильинке в маленькой лавочке и был обязан своим состоянием рекомендации Ивана Ивановича. И он оправдал его внимание к себе. За злоупотребления полиция опечатала почти все лавки по соседству с Третьяковым, в коих найден был так называемый *чай Иван\**. Третьякова лавка почти одна в этом ряду оставалась открытою; в ней полициею не найдено было и следов *Иван-чая*. И так верование Ивана Ивановича в купцов с книгами оправдалось на этот раз вполне. У этого Третьякова я покупал чай и пр. до самой его смерти, случившейся пред самым моим переселением из Москвы. Он умер 32 или 33 лет вследствие припадков, коим он подвержен был с детства.

Эти мимоходом анекдоты показывают, что душа И. Ивановича была во всех классах общества, которое познакомилось с ним во время хлопот при рассматривании участков разоренных нашествием неприятеля\*. Легко поймете меня, Ваше сиятельство, до какой степени восхищен я был от одной только мысли, что завтра в 2 часа я буду обедать с Иваном Ивановичем!

Желанное завтра наступило. Как медленно шли часы; с каким нетерпением я посматривал на них, но они не прибавляли ходу. Наконец с тоскою ожидаемая минута наступила, и я полетел без оглядки. И вот уже пред фасом дома, который напоминает фас Платоновой Академии греков. Вхожу в переднюю. Теперь свежо в моей памяти, что, увидавши людей в ливрее, я смешался – чему? – и доселе не знаю. Когда я объявил о себе, то длинный его живописец\* повел меня чрез комнаты в сад и потом садом по дорожке к той долинке с холмом, с которого видны из-за деревьев часть приходской колокольни, часть соседского дома и несколько крыш, даже, если не оши-

баюсь, от самого Кремля. Это место всегда мне особенно нравилось. Не от того ли, что здесь была первая моя встреча с И. Ивановичем в его доме. Он был, помнится, в сером фраке с звездой, в серой шляпе\*, которую, увидевши меня, он снял одною рукою, а другую протянул ко мне. Простите, но мне представляется и теперь, что когда взял он мою руку и слегка пожал своею – он перетянул всю душу мою к себе. Она вся отдалась ему – вся и доселе.

И доселе не прощаю себе, отчего я не употребил довольно противоречия – не отстаивал его пред смертью от писателей рецептов. Его бы можно было возвратить к жизни – он еще был довольно крепок по летам своим. Но я уже был не тот, как прежде: я уже был робок. Мои ручьями слезы – мое рыдание препятствовало мне говорить – вразумляли, но не вразумили *Господина Консилиума*, что я чувствовал вполне, куда повлекут больно мази и микстуры *ex consilio*. – Да – Ваше сиятельство – обстоятельства делают все в жизни; они управляют человеком, как машиною – согласны ли вы? За 12 лет я был в цвете возраста – в душе с впечатлениями Англии и Франции, с полнотою надежды и не без пламени. – Тогда – сделавшись в первый раз И. И. тяжело нездоров при мне, – я не заботился о Шмиде\* – в то время уважаемом докторе Москвы, не боялся, что он может вредить мне – я заставил его отказаться от его микстуры и порошков – заставил его поручить мне И. И., с которым просидел дотоле, пока он был уже вне всякой опасности. Конечно – этот Шмид отблагодарил меня потом с своими товарищами, но все это вначале было как с гуся вода. Мне было нечего терять. Мне было не с кем расставаться. Но перед смертью И. И. у доброго молодца уже довольно общипано было перьев. Обстоятельства были совсем другие. Надобно было молчать, одне слезы и рыдания открывали тайну души.

Обращали ли вы внимание ваше на портрет Карно в *Histoire de l'empereur Napoléon par Laurent de l'Ardeche* – pag. 180\*. Мне и теперь мерещится, что этот портрет с И. Ивановича. Мне и теперь мерещится, что в первый раз в саду я заметил его сквозь деревья точно в таком положении и с такою осанкою. Мне мерещится, что физиогномия в сем портрете схожа с физиогномиею И. Ивановича. Мне мерещится это. Из сада он меня повел прямо в столовую. «Мы будем обедать вдвоем. Мне хотелось более с вами поговорить, а вдвоем обедавши, никто нам не помешает». И как он умел заставить говорить! Ежели я был профессором, то только во время этого обеда и в это время беседы с И. Ивановичем, даже за полночь. Я невольно говорил, потому что видел: меня слушает с удовольствием И. Иванович. А он умел это показать. Примите во внимание то, что молодой человек – мне было тогда около 30 лет – посвятивши по страсти все свое время в продол-

жении 3 лет и 5 месяцев в чужих краях изучению наук, – который не имел во все это время другого развлечения, кроме оперы или театра – вдруг обольщается (да) говорить, и слушатель его Иван Иванович Дмитриев, к коему с детства – не зная его лично – возбуждено было и любопытство и желание знакомым быть с коим. А здесь случай сажает с ним за стол и только с ним одним. Воспоминание об этом льстит мне и теперь. Впоследствии, когда он приглашал к себе кого-либо из новых литераторов, всегда уделял мне долю своего внимания чистого, искреннего.

После обеда он повел меня на балкон пить кофе и, сорвав цветок померанца, сам положил ко мне в чашку, рекомендуя мне, что запах свежего померанцового цвета увеличивает приятность кофе. Он любил и в чай класть померанцевый цвет.

Здесь-то – в первый раз – я был слушателем о Н. М. Карамзине. Да – я был свидетелем последних воспоминаний его о сем неутомимом, гениальном человеке – друге его. Между прочим, рассказавши мне, как благословенный государь Александр, о коем он никогда равнодушно не мог вспоминать\*, взявши однажды Н. М. под руку и отведши его в углубление окна, помнится, в Царском Селе, выслушивал мнение его в продолжение целого часа о Польше\*. Засим И. И. спрашивает меня, читал ли я последние томы его Историй\*, и когда я отвечал ему, что недавно возвратившись на родину, я не имел еще случая приобрести оные – он встает мгновенно и спустя несколько минут является с человеком позади себя, который несет кучу книг. «Примите от меня в воспоминание так приятно ныне проведенного с вами времени. Эти томы получены мною из рук друга моего, Н. М., остальной не покупайте, я сам вам доставлю его со временем». Слезы хлынули у него градом – он зарыдал. Я позабылся, ухватил его за руку, целовал его руки, грудь – он обнял меня, прижал к своему сердцу и с тех пор сердце мое билось свободно только в присутствии И. Ивановича. Много уже прошло времени, – но воспоминание об нем еще свежо. Вот для начала и по силам постараюсь о продолжении – это для меня сладко.

Примите уверение в совершенном уважении к вам.

Вашего сиятельства покорный слуга

Александр Иовский

Ливны. 8 ноября 1844 года».

«Ваше сиятельство Милостивый Государь!

Как я обязан Вашему сиятельству за то, что вы подали мне случай обратиться к воспоминаниям о незабвенном И. И. Дмитриеве. Я чувствую себя и здоровее и веселее.

Время и жизнь – о, как это быстро! Кажется, одно только воспоминание кладет заметки, что мы жили и как жили. Право, кажется, воспоминание есть стрелка нашей жизни; оно, подобно часовой стрелке, показывает, что время жизни прошло, промчалось, просверкнуло. А все одно: *этого уже нет!* Такова участь человеческая. Такова участь всего земного. Хорошо оно было; жалко, что прошло. Но иногда – Боже избави – едва в силах выждать, пока пройдет. И Иван Ив[анови]ч имел в прошедшем такое, что жестоко мнет наши чувства.

И. И. любил переноситься воспоминанием своим к первой службе своей, помнится, в Семеновском полку. Мне тогда казалось и теперь тоже кажется, что время, когда он был сержантом, было для него приятнее в воспоминании даже времени министерства его. И немудрено. В то время была полная поэзия его жизни. Поэт в душе, его радовала новая мысль, его радовало удачное выражение, его радовало даже, когда Новиков был благосклонен к нему\*. Его радовал и запах кофе и книга, отысканная им на толкучем рынке. Это была поэзия чистого чувства – чувства тонкого, живого ко всем впечатлениям. На этом чувстве отпечатлевалась подлинником природа и искусство, общество и дикая приволжская степь. Кто из близких не знает, с какою силою И. И. любил и природу, и искусство, и степь, и общество.

И это чувство два раза в жизни было жестоко сжато тисками – смято молотом обстоятельств. В первый раз – когда Дмитриеву дали письмо представиться к С..., в то время вельможе\*. В другое время – когда в царствование императора Павла на него сделали гнусный донос\*. Воспоминание о первом случае всегда сопровождалось у него негодованием, всегда тяжело было для его благородного чувства. И могло ли быть иначе? Представьте человека в полном развитии сил – представьте человека, почувствовавшего свои силы – его заставляют явиться к вельможе, который может дать силам этим пищу, достоинству этому назначение. Вообразите ж, что этот вельможа без чувства и души, с чванливою надменностию, с презрительными ужимками встречает и достоинство и силу нравственные и вместо благосклонности отвратительно выказывает всю ничтожность временщика.



О, это не изглаживалось из памяти Ивана Ивановича! Это представление всегда возобновляло в нем тягостное чувство. Последствий от этого представления для жизни И. Ивановича никаких не было; но воспоминание об нем оставалось тягостным, потому что в существе своем было отрицательно.

Воспоминание о доносе, сделанном на него, было воспоминанием чистой, высокой души его. Время задержания Ивана Ивановича было таким временем, когда чувства и душа совершенно подавлены, когда жизнь заметно переступает в другой период свой; когда преждевременная зрелость совершается днями, даже часами. Но воспоминание об этом не только не тяготило жизни Ивана Ивановича, но возбуждало в нем самодовольство о том, что он имел в себе столько энергии, чтобы перенести это ужасное потрясение в жизни. При том с этим воспоминанием неразлучно было другое – воспоминание о великости души императора Павла, когда открылась ему истинная невинность жертвы. С благоговением вспоминал Дмитриев о том чувстве, с каким Царственный судья встретил невинного. С каким благодушием Он поручал достоинства страдальца покровительству сыновей своих, в присутствии коих был прием сей. Император Александр освятил память родителя своего доверенностию своею к Ивану Ивановичу. Но оправдал ли эту доверенность И. Иванович?

Преданность – чистая, свободная передача самого себя другому. При этом один тон в дружбе и в чувстве. Рождаются ли с этим тоном или сочувствием люди, или образуется в них это сочувствие обстоятельствами? Мне кажется, для развития преданности необходимо и то и другое. Вспомните о Леониде, погребавшем себя с 300 храбрецов при Термопилах. Это пример чистой, свободной преданности. Тут не было ничего преднамеренного, своекорыстного, даже о великости подвига. Это простое сочувствие – так была настроена душа и чувства. Грек или русский – в древней или в новой истории – в республике или в монархии – все одно, все то же; разницы нет – значение в сущности одно: в верховной власти, в верховной силе сосредоточивается сила последнего члена. При той или другой форме устройства – преданность выражает ту частную силу верховной власти, кою выполняет неприкосновенность учреждений и освящается важность постановлений. И ежели это соотношение зависимости понято; ежели оно развивается по надлежащему масштабу, тогда чувство зависимости свободно; тогда нет надобности отягчать себя тяжкими мудрованиями, что без верховной силы нет существования частного или оно не обеспечено; иначе оно игрушка первого встречного негодяя. Выражает ли эту верховную силу республика или самодержавие – следствие одно и то же.

Сколько раз я расставался с Иваном Ивановичем, растроганный до глубины души необыкновенною его преданностью к Тому, который не существовал уже для него, – не существовал уже для России. Происшествия, предшествовавшие удалению Сперанского\*, – происшествия перед 1812-м годом и потом следовавшие, в рассказах Ивана Ивановича дышали чистою, благородною преданностью к тому, к которому не переставал благоговеть он, как пред благодетелем своим. Я видел рыдания графа Аракчеева в Берлине в 1826-м году при встрече его с послом, помнится, с г. Алопеусом\* в его канцелярии и кажется, эти рыдания, как в то время заметили, были только о потере власти, которая ускользнула из рук его. Да – чтобы быть свободно преданным, надобно быть высоким и по чувству и по душе.

Я помню странную выходку одного генерала\*, на вечеру у И. Ив<анови>ча, теснимый со всех сторон неприятелем и ошибками своих генералов, а внутри государства – неприятельными партиями, более и более разжигаемыми его неудачами, сказал членам Законодательного Совета, приветствовавшим его с новым, последним годом его царства, между прочим, следующие слова: *Le trône n'est que du bois recouvert de velours*. Лицо Ивана Ивановича вдруг подернулось негодованием. Он, обратившись к генералу, с живостию сказал: «Послушайте, М. Ф., вы согласитесь, что это была острота человека, ожесточенного со всех сторон обстоятельствами, желавшего унижить льстецов предателей. Верно, в другое время и при других обстоятельствах Наполеон сам сознавал, что его трон не есть дерево, обтянутое бархатом. По этому каждое кресло, обтянутое бархатом, может назваться троном. Но в этом слове: трон, кроме формы, есть другое значение, перед которым мы привыкли благоговеть везде, где только государственные учреждения имеют вес и силу».

Надобно было видеть в это время этого генерала. Но вы вероятно его знали. Он умер перед моим переселением из Москвы. Я был с ним знаком по его вызову. Он считал себя химиком, был также и политик. Однажды недели две была его тетрадь у И. Ивановича о чем-то, помнится, из политической экономии. Тетрадь эту рассматривал известный архимандрит Фотий и исписал края страниц своими замечаниями. В этом уже виде тетрадь эта была у И. Ивановича, который давал мне ее для прочтения. Генерал этот был прекрасный человек; но – амальгама старых и новых понятий. Он старался прослыть химиком, но в своих действиях и понятиях был более алхимиком, нежели химиком. Впрочем, он в свой век сделал пользу устройством фабрики отличного хрусталя, отличных цветных стекол и раскрашенных стекол для экранов и пр., а сим способствовал к возбуждению

соперничества в других заводчиках. Но принесло ли это пользу собственному его семейству? Не была ли это фабрикация только из видов тщеславия?

Неделю спустя этот генерал посетил опять И. Ивановича; но потом я уже не видал его у него. Однажды Иван Иванович, вспоминая о тех, кои давно уже его не посещали, прибавил: «И М. Ф. не ездит уже ко мне. Вероятно, не понравились ему мои понятия о троне».

Душа И. Ив<анови>ча очень часто носилась в воспоминании между Козлятиновым\* и Карамзиным. О, – эти воспоминания были зеркалом его превосходной души! Добро-благодарность-дружба-неподдельное, искреннее чувство чести – таковы были качества этой души. Надобно, чтобы добро было добром, какому бы оно званию и состоянию не принадлежало. Высокая душа неразборчива в этом. Надобно было знать Ивана Ивановича, чтобы понять, до какой степени он не был разборчив в этом отношении. Однажды в зимний вечер он привозит с собою ко мне в возке нищего, которого в продолжение долгого времени он встречал то у дверей магазина Розентрауха, или Витали, то при выходе от Яра\*, выпрашивающего с особыми гримасами милостину. Это был малой лет 16–17-ти довольно порядочной наружности, весь в лохмотьях, которые он, по-видимому, навесил на себя по званию нищего, и у которого голова покрыта была струпом. Ивану Ивановичу хотелось знать, может ли эта голова, которую нищий этот выставлял для возбуждения сострадания, освобождена быть от недуга ея. Получив утвердительный ответ, он поместил этого нищего над поварскою своею в мезонинчике. Этого нищего холили, кормили и наконец чрез пристава Никитской части Вальцева отправили откормленного, как быка, в волость, к какой он принадлежал.

Карамзин в сочинениях своих сказал: Кто имеет друга, благодари Всетворящего\*. У И. Ив<анови>ча любимую мыслью при воспоминании о Карамзине было то, что дружба есть взаимный перелив мыслей, понятий, чувствований от одного лица к другому; что это-то и есть жизнь; что это-то и есть счастье жизни; прочее все пустота, суетность.

Помню, Н. И. Агарев\* рассказывал Ивану Ивановичу вычитанные им мысли о соразмерении для рабочего класса возмездий относительно тех, для которых оный работает. По филантропии даже это не совсем справедливо; но гораздо несправедливее по существу предмета, возразил И. И. Мне приводят, продолжал он, <работника> колоть дрова и класть оные в сажени по 40 копеек за сажень – на его собственной пище. Плата эта добровольная, без вынуждения. Работник занимается только этим промыслом; он это только умеет; он не заботится иметь лучшую заработку. Конечно, это мало,

кажется, за его тяжкий труд. Хороших дров он не перекалывает одной сажени в день. И что ему от пищи останется на обувь и одежду, не говоря уже об общественных повинностях. Но он и этим доволен. Он не ищет лучшего. Исколовши и убравши дрова у меня, он опять с своим топором стоит на дровяной площади и предлагает свои те же самые услуги. Для другого дела он не способен или ему не нравится другой промысел. Он умеет распорядиться только 40 к., и при том так, что из них ему достается на пищу, одежду, обувь и даже на поправку своего топора, который наконец должен же притупиться. Вероятно из них он уделяет и на общественные повинности. Дайте ему вместо 40 – 80 к. Он сделает полезное для себя употребление только из 40 к., потому что он привык распоряжаться <только ими>. Остальные 40 к. пойдут у него хинью\*. Он не поймет, что ему делать с этою лишнею суммою. Остальное ныне он употребит на пьянство или на другое что бесполезное для себя, а назавтре у него не останется и воспоминания о том, что у него вчера были лишние деньги. Но ежели в работнике есть уже понятие об улучшении своего состояния, тогда он без посторонней оценки своего труда, сам оценит его и излишнюю свою прибыль назначит верно на полезное для себя употребление. Таким образом от гривны к рублю он перейдет к приобретению состояния и дойдет до капитала. Цену труда назначает общее мнение, а не филантропия. Дайте работнику лишнюю копейку, вы ему не сделаете добра; но ежели вы недодадите ему, то он сам возместит оную и притом с избытком – трудом своим, заключил И. И. Все делается по мере понятий, прибавил он потом. Приобретаются ли эти понятия и развиваются от благоприятных впечатлений, даже без собственного нашего сознания, или мы выносим зародыш оных с собою на свет, кажется это еще не разрешено. Однажды мы с Николаем Михайловичем, которого филантропические чувства известны, очень долго и с жаром спорили о подобном предмете, даже разошлись, не согласившись, – даже, показалось бы другим, – с видимым неудовольствием один против другого\*. На другой день Николай Михайлович пришел ко мне рано утром и снова завязался наш разговор о том же. Мало-по-малу соглашения и уступки являлись с той и другой стороны и наконец мы сошлись в наших мнениях. По-видимому, наш диспут относился только к тому, чтобы более и яснее вразумить один другого в том мнении, которое обоим нам было общее, но для обоих еще неясное. Таково, ежели не изменяет мне память, или почти таково было содержание одного вечера у И. И. Дмитриева. Я и Н. И. Агарев были внимательными слушателями до позднего часа ночи. В это время И. И. прибавил: «Дайте людям мысли и понятия – и, право, это будет лучше теорий соразмерного вознаграждения за труд: потому что лю-

ди сами найдут средства вознаградить свой труд. С мыслями и понятиями они надежнее сблизятся между собою и в своих интересах. Только по мыслям и понятиям люди сходятся и сближаются между собою. Горько в жизни тому, которого мысли и понятия не прилаживаются к мыслям и понятиям других». Он указал на ряд портретов от Мазепы, Карла XII и пр., кои у него слыли под именем горячих голов.

Ежели Н. И. Агарев здра<в>ствует, то вероятно помнит этот вечер. Помню я, что в этот же вечер, по уходе Н. И., Дмитриев, обращаясь ко мне, прибавил: «Вот сенатор – ему не подсказывает определение секретарь оттого, что уверен в знании сенатора. Обер-секретарь не посмеет разинуть при нем рта от того, что он уверен, что Н. И. сам взвешивает и умеет взвешивать обстоятельства дела».

Да. Дмитриев умел ценить людей.

Вот Вашему сиятельству второе воспоминание о нашем Дмитриеве. Мне многое приходит в голову, что могло бы забыться. Ежели вспомнится, то этим обязан вам.

Примите уверение в чувстве истинного многоуважения и совершенной преданности

Вашего сиятельства покорнейший слуга

Александр Иовский

Ливны. 28 ноября 1844 года».

3

«Ваше Сиятельство Милостивый Государь!

Вот вам в новый год воспоминание мое о министре Дмитриеве. Каково бы ни было оно, но оно вас, я знаю, более порадует, нежели обыкновенные фразы для нового года. При имени И. И. Дмитриева, я знаю, у вас самого возродится много старинных, даже сердечных воспоминаний. Каково бы ни было мое воспоминание о министре Дмитриеве, но оно, я знаю, отнесет и ваше воспоминание к тому времени, когда и вам нашептывала Муза ваша одни только радости. Да – у всех было свое время. О, – счастлив еще тот, у кого промелькнувший луч радости не удвоит грустного чувства в настоящем! Когда-то и я встречал или начинал новый год с И. И., а теперь с дворянами и с однодворцами села Преображенского. Было время – тогда Дмитриеву не скучно было со мною, а теперь, кажется, и однодворцы не скачуют со мною; разница пустая – весело ли мне с ними?

В посылаемом мною к вам воспоминании моем я бегло только взглянул на то, что слышал от И. Ивановича. И как он рассказывал, бывало, о том, что встречал он при своих ревизиях! С тех пор много протекло времени, но много ли улучшилось по губерниям? Я сам страдалец. Сам чувствую всю тяжесть губернского добра и покоя. Не знаю, что делает мне министр внутр<енних> дел; но знаю, что наш начальник губернии делает мне честь угрозами, как слышу. Один вы, Ваше сиятельство, мой защитник.

Мне приходит иногда на мысль: если бы вы осчастливили меня вашими замечаниями на мои воспоминания; сколько бы радости было для меня!

С глубочайшим уважением и с совершенною преданностью навсегда  
Вашего сиятельства, милостивый государь!  
Покорный слуга  
Александр Иовский

Ливны. 4 генваря 1845 года».

## II

### Министерство И. И. Дмитриева

И. И. Дмитриев, министр юстиции. Живя в Москве, на покое уже, в своем маленьком домике, среди братьев по Апполону, он назначен был по высочайшему избранию блюсти за точностию весов правосудия русского. И какова была точность весов этих, которые были осыпаны саранчею подъячих! Ссылки на указы, тучи примеров из предшествовавших решений, толкования по обстоятельствам, определения по условиям, натяжки при следствиях, производство дел по разумению каждого – и нисколько оснований юриспруденции. Такова картина представилась Ивану Ивановичу при вступлении в храм Фемиды, в котором бедная богиня, пристыженная собственною своею слабостию, поруганная наглостию невежественного крючкотворства, из-под траурного покрывала своего простирала с надеждою трепещущую руку к новому своему министру. И этот министр, глубоко проникнутый чувством чести и долга, простер к ней руку твердую. Что ни говорят, и как ни говорят, но истина, хотя и поздно, является на сцену во всей наготе ея. Министерство Ивана Ивановича есть эпоха не только в русской юстиции, но даже в самом просвещении. Вступивши в толпу людей, у коих не было другого правила, другого закона, как только: *как при-*

*кажете и что угодно*; другого образа мыслей, как: *что скажут и не будут ли гневаться за это, не навлечет ли это укора того или другого*; подкрепляемый словом Александра, он шел тем обычным шагом, который так свойственен был ему, который так шел к его осанке. Бывши сенатором, он несколько лет назначался ревизором губерний, и это-то развило в нем ту мысль, по которой состоялся указ в 1809 году, столь прискорбный, *досадительный* для титулярных советников.

И что находил И. И. во время своих ревизий! Дай Бог, чтобы этого не случалось при ревизиях в настоящее время, уже пора видеть другое; уже лет двадцать кричат у нас писаки, что Россия быстрыми шагами идет к совершенству в гражданском своем развитии; что Россия и пр. и пр. Тогда эта Россия представляла в губерниях жалкие явления. Начальники губерний (ибо были уже начальники губерний)\* были большею частию люди с отличною выправкою, но совершенно не способные к занятию их должностей, – люди, совсем не понимавшие возложенных на них обязанностей. Все дела по губернии были или в руках правителей губернаторских канцелярий, или секретарей, или каких-либо близких к губернаторам людей, кои большею частию поступали из семинарий, случайно или по милостивой протекции; нередко такие, кои, по выражению фон-Визина, убоившись бездны премудрости\*, возвращались уже вспять. Таковые доверители для наблюдения над порядком течения дел в губерниях, ежели могли распорядиться с формою хрии простой или превращенной, распорядились уже по всем правам с губерниею, во имя милостивца своего и начальника – *на славу*. Нечего греха таить – были и милостивцы, кои все почти имели сильную руку в Петербурге и кои, на сем основании, то домик выстроят, то купят деревеньку\*, но это в свою очередь делалось только милостию возмездия правителей канцелярий или секретарей, кои за ущербы податливости милостивцам и покровителям своим вознаграждали себя со сторицею. Думы, магистраты, ратуши понимали экстренные расходы, откупщики должное, суды и исправники разумели очистку дел и достоинство акциденций. Правители губернаторских канцелярий или секретари губернаторские, т. е. кто были в силе или *в фаворе* (подобные иностранные слова имели особый вес в устах подобных случайностей), носили на мощных, тучных плечах своих всю тяжесть управления губерниею и не доводили милостивцев и покровителей своих ни до каких беспокойств и огорчений. Усердные губернаторы принимали на себя труд раз в год являться по губернии для *обозрения* оной; чиновники, сопутствовавшие им, блюли, яко зеницу ока, покой и беззаботность их. Передовые неслись с приказами к исправникам, а сии уже вменяли себе в священную обязанность озаботиться о безостановочном проезде

своего начальника по уезду и о *надлежащей* встрече чиновников, его сопровождавших. Лошади на станциях двойным числом, на дорогах толпы крестьян, выравнивающих колеи, рытвины и промоины или обсаживающих дорогу свежими кольями из ветлы и обертывающих оные соломою. На причалах, где г. начальник изволит останавливаться, заботливостью исправника прибрана изба или комната, вход усыпан песком, на лавках и полу постланы ковры, на столе скатертка и на ней определенное число приборов или для обеда, или для чаю. И г. начальник губернии садится с удовольствием за стол, он в восхищении, до какой степени развивается вкус в крестьянских избах, он нисходит до *народности* и приглашает чиновников, его сопровождающих, с собою, и даже исправника, за один стол, оные отнекиваются с подобострастием от сей высокой чести для них, ибо им приготовлен особый стол – на свободе, где им нужно сделать расчеты по уезду, где они точнее дознать могут о благосостоянии уезда. При городах градоначальники на заставах – также во всей форме – и нередко верхом, ежели телесная их тучность не препятствует этому, встречают губернатора своего с рапортом о благосостоянии города, который и удостоиваются подать из собственных рук своих. И вот по городу летят экипажи, скачут верховые прямо к квартире начальника губернии, отлично убранной, разумеется, в доме лучшем в городе, где голова или бургомистр с купечеством и с хлебом и с солью; дворянский предводитель с служащим по выбору дворянством, с уверенностью преклоняют главы свои – да из бодрости их удостоверится дух начальнический о благосостоянии города, им посещаемого, и об устройстве дел оного. Наружность чиновников удостоверяет уже, что все обстоит благополучно. И что же остается делать начальнику губернии в каком-либо дрянном городке? Проехать по городу, заехать к острогу, где принимается обыкновенно рапорт о числе содержимых и о *благосостоянии* их содержания; завернуть к присутственным местам, где также готовы рапорты о ходе и течении дел, и потом отобедать или отужинать с знатною городскою и потом в довольстве и навеселе продолжать дальнейшее обозрение губернии. Разумеется, что в это время чиновники, сопровождающие начальника своего, привели в порядок рапорты и обряд ревизии покончили – все в порядке – все в исправности! Но усердные слуги отечества посылали даже вперед для предварительного обревизования какого-нибудь Никольского, который отлично делывал свои дела и при маловажной сделке загибал листы в делах и ногтем отмечал, где начальнику губернии должно было остановить свое внимание и побранить членов суда за неисправность. Но ежели Никольский доволен, то пусть приезжает, милости просим – это возглас другой формы ревизии. И действительно – на-



чальнику губернии открывается обширное поле покоя; остается отрапортовать министерству, что благоустройство и преуспеяние по губернии идет быстрыми шагами. Но вот беда: после столь торжественных отношений назначается ревизором губернии сенатор. И беда, если этот сенатор муж чести и долга. В проезд его, при каждой перемене лошадей, он бывает окружен толпою просителей, и эти просьбы, и эти прошения прежде прибытия его в город знакомят его уже с настоящим состоянием дел уезда и с цветущею губерниею. В иных присутствиях не находит он настольных реестров; там – дела, числящиеся в докладном реестре, не отыскиваются в журналах и нет для них протоколов. А сколько указов лежат в забвении по всем инстанциям суда, начиная с губернского правления, правого глаза губернаторского, до земского суда? При расспросе присутствующих о беспорядках секретари вытягиваются отвечать за них, а гг. члены суда на повторительные вопросы остаются безгласны, как рыбы, и одними поклонами удовлетворяют законное требование сенатора. Или, и то случалось, вместо всякого ответа повторяют: не погубите нас! жена, дети малые!\* При таком состоянии дел устройства в цветущей губернии, как свидетельствовал начальник губернии, ревизор-сенатор встречает хаос в действиях присутственных мест и набирает кучу просьб с жалобами, кои, само собою разумеется, не может удовлетворить, но кои, по крайней мере, знакомят его с благоденствием ревизуемой им страны и с порядком управления.

Иван Иванович, принявши на свою ответственность министерство юстиции, не один раз бывши сенатором-ревизором, с прискорбием знал уже и видел как затруднения и препятствия со стороны крайнего неустройства по управлению оным, так и ничтожность средств к поправлению тех результатов; ибо по всей обширности министерства он столь мало находил людей, способных понимать свои обязанности, что с трудом и кой-как, по его выражению, собрал несколько для обзаведения собственной канцелярии и департамента министерства. Выбор сделан был им не наудачу; дарования и нравственные качества были на весах при сем выборе. Всякий скажет, что и дарования и нравственные качества взвешиваемы были не наудачу и не по произволу. Доказательством сему то, что многие из сего выбора занимали впоследствии важные государственные должности, а двоим поверены были министерства – гг. Дашкову и Блудову\*.

Входя сам в подробности министерства и занятий по оному, И. Иванович легко видел, что исполнение обязанностей, лежащих на Дашкове, несближаемо разнится от исполнения обязанностей, лежащих на З. З. Это более утвердило его в мысли исходатайствовать высочайшее разрешение

об издании указа, по коему не производились <бы> в чины далее титулярных советников без экзамена или без университетского аттестата.

– Покойный Государь был истинный мой благодетель, – однажды говорил И. Иванович, – не потому только, что он был особенно милостив и внимателен к моей службе, но по тем ощущениям, кои произвел он во мне своим характером и кои сладостны для меня и ныне точно так же, как во время возрождения их. После одного доклада по службе моей, когда он готов уже был отпустить меня, я обращаюсь к нему, держа в руках тетрадь: Государь! – Что еще? Что это такое, спросил он. – Осмеливаюсь Вашему Величеству представить мнение мое о способах заставить более заниматься у нас науками. – А, это хорошо, очень хорошо. Но скажи же мне, в чем дело? – Я начал объяснять ему содержание моего мнения, не спуская глаз с него: он был весь внимание, физиономия его, всегда столь благая и кроткая, в это время озарилась чистою радостью – физиономия эта всегда со мною, – с слезами на глазах сказал Иван И. – Очень, очень я благодарен тебе за это, И. И. Приготовь по содержанию твоего мнения указ и принеси в будущий раз подписать мне. Я тебе очень благодарен за это, повторил Государь вслед за мною, держа записку мою в руках своих. Через несколько дней указ был готов и я явился для подписания его. Лишь только Государь меня заметил, подошел ко мне, взял меня за руку и с свойственною ему благостию говорит: «Спасибо, И. Иванович. Весьма тебе благодарен. Мнение твое у меня не выходит из головы. Ты оным для меня сделал большую услугу». И увидавши бумагу в руках моих, что это? спросил он. – Указ, который Ваше величество изволили приказать приготовить на основании моего мнения. «Подай сюда». Взявши бумагу и просмотревши оную, тут же подписал. И вот указ, остановивший на быстром поприще бесчисленных титулярных советников, начиная от отпущенников, коих отцы обокрали господ своих, поверивших им имения, и до детей сановитого купечества. Вы вероятно знаете стихи Нахимова: «Восплачь, канцелярист, подъячий, / Секретарь и вся приказна тварь и пр.», – писанные по случаю появления сего указа\*.

И было чему плакать! И было над чем злобе и клевете людской потешиться! И было с кем интриге составлять свои проделки! Каких качеств ни приписывали И. Ивановичу! Наконец в мое уже время общий гул сосредоточился на том, что И. Иванович был безмерно горд. Да – одно только справедливо, что он казался иногда суровым, и именно когда душа его погружена была в саму себя, когда думы волновали эту душу. И он мыслил не о себе, не умножение имения своего занимало эту душу. Любя во всем математическую точность, он не допускал никакой и лицемерной сделки ни с

обязанностями занимаемого им места, ни с последствиями совершаемого им поступка. Он не терпел ничего постыдного, не просил ничего для себя. Да – он казался гордым тем, кои боялись приблизиться к нему – до такой степени уважали его. Люди дозволяют людям возвышаться даже и выше их, но никогда, никогда не прощают тем, кои не унижаются до них. Посему чувства, питаемые ими к великим характерам, сопровождаются отчасти ненавистью и страхом. Излишество достоинства есть для них безусловный упрек, которого они не прощают ни живым, ни мертвым.

В упомянутом указе заключается истинный зародыш русского просвещения, без него наши дорогие соотечественники, столь чиновлюбивые, столь смышленные, как некоторые журналисты воспевают, по своей русской натуре, не принялись бы за эту русскую грамоту с такой охотой, какую по видимому обнаруживают ныне. Да и на что нужна была, как еще фон-Визин заметил, русскому дворянину, столь тщеславному, Бог знает чем, столь суетному, – грамота, особливо когда *мадам* дитя его учила, а *муссьё* его гулять водил? \* На что она ему была нужна, когда можно было с своими *положенными* душами пропировать *положенный* свой век? С появлением помянутого указа университеты русские начали наполняться молодыми людьми; положим, еще не слишком жадными к обогащению себя нужными сведениями; по крайней мере, и то уже было неопределимым для отечества приобретением, что все они жадны были к преодолению преграды для чина коллежского ассесора. Волею или неволею, разве это не было уже настоящим добром для отечества, когда многие молодые люди, по крайней мере, перед экзаменом своим заглядывали в предметы своего факультета. Волею или неволею, но они приобретали уже несколько лишних соображений, более, по крайней мере, нежели сколько чистая, щедрая русская натура даровала им оных; более по крайней мере, нежели сколько имел оных настоящий русский неслужащий дворянин, или русский приказный, или даже русский прапорщик, включительно до капитанов, в отставке. Но между молодыми людьми, начавшими посещать университет, встречались уже и пристрастившиеся к науке, встречались уже с жаждою к познанию. В 1812 году нашли в университетах многих уже людей, кои преимущественно сказались полезными по разным частям в армиях, коими преимущественно дорожили многие генералы. После нашествия неприятелей министерства стали наполняться чиновниками из университетских студентов, коих отыскивали и отличали по преимуществу. Корень всего этого добра развился умом Ивана Ивановича: он расшевелил эту *molem crudam* \* и подвинул ее к умственной деятельности. Без его счастливо развернутой мысли, может быть, мы коснулись бы еще и доселе с нашею русскою смышленною натурою.

Великое дело – удачно развитая мысль; но мысль сама по себе не развернется никогда без предварительного образования души и чувства. Гений самородка – это мистификация. Не бриенская школа\* сделала Наполеона славным полководцем, славным политиком, славным правителем; но собственное его глубокое изучение того, что имел он случай изучить глубоко. И Ивана Ивановича образовало не домашнее воспитание, которое мог дать своему сыну в век Екатерины II русский помещик, в глуши приволжской. Его образовало собственное изучение всего того, что случайно попадалось ему под руку. На биваке, в карауле, в казарме или на чердаке своем\* – всегда с книгою и всегда с жадностью изучить последнюю ее страницу. Так-то – в школе то или в домашнем кругу – образуется душа и чувства, при очищении которых свободно развертываются мысли и соображения делаются светлыми.

Только с светлыми соображениями у И. И. Дмитриева могла родиться мысль на русском чиновничьи основать закон, возбуждавший невольное желание к учению – закон, столь простой в основании своем и столь важный по последствиям. Один этот закон, предложенный для утверждения высочайшей воле министром Дмитриевым, заслуживает ему от благонамеренных соотечественников благодарных памятников. Но, сверх того, И. И. поэт, И. И. баснописец, И. И. литератор, каких немного; о сем после.

Я не берусь говорить о других заслугах И. И. Дмитриева по Министерству юстиции во многих частях его, а особливо по ходу прокурорских дел, по улучшению подрядов откупов винных и пр. П. И. Дегай\* и другие образованные юристы, знавшие И. И., знают это хорошо. Они обязаны сказать это. Иван Иванович дышал наукою. Не один раз слышал я от него мнение его об определении в присутственные места членов по экзаменам, и именно, чтобы в члены высших инстанций суда к экзамену допускаемы были кандидаты и магистры и доктора прав, а в члены низших инстанций – кончившие курс студенты юридического факультета. Он предлагал об этом Д. В. Дашкову в бытность его у него, но сей находил какие-то затруднения. И. И. примолвил: все это можно бы уладить; для экзаменов можно составить предварительно программы в Министерстве, а о вызове к занятию должностей можно публиковать. Из чего теперь делаются выборы в отдаленных губерниях – из тех же приказных, наживших состояние и еще алчущих более, или из таких отставных офицеров, кои и не думали о знании службы, но коим нужны взятки. Они не чувствуют стыда нарушать закон. Такова была вера Ивана Ивановича в науку.

Был некто И. Е. Соколов\*, впоследствии обер-секретарь в Сенате, которого Иван Иванович брал с собою для письма при обревизировании гу-

берний. Однажды зимой в большой мороз, заметивши, что Соколов худо одет, в ближнем городе купил для него теплый тулуп. Соколов во всю жизнь свою понять не мог, как можно, собираясь ревизировать суды, издерживать деньги на покупку тулупа для своего писца: скажи слово, и присутствующие с радостью достали бы тулуп, да еще и лучший. Я, услышавши об этом от Соколова, рассказал Ивану Ивановичу, и он от души хохотал этому.

С другой стороны, И. И., бывши министром и давши развитие делу, которое тянулось в продолжение многих лет по разным инстанциям судов, предложил на пересмотр оное Сенату, который и решил сообразно предложению министра. В один день, возвращаясь домой, находит у себя дорогой сервис; на вопрос, от кого и кто принес оный, получает ответ, что принесший не сказал, от кого, а только прибавил, что де в благодарность за покровительство Вашему высокопревосходительству. Это чрезвычайно огорчило И. Ивановича. «Мне не то было больно, – говорил он, – что мне предложили взятку, но то меня огорчало, чем подал я повод, чтобы сочли меня способным к этому. Я был мучеником до тех пор, пока с помощью полиции не отыскали того, кто принес этот сервис, и не унесли оный из моего дому, которого даже стены сделались мне противны. Мне казалось, что и оне укоряют меня сервисом. Когда возвратили этот сервис по принадлежности, мне казалось, что тяжесть свалилась с моего сердца: мне стало легко, я дышал свободно».

Вот мое желание в заключение этого короткого обзора одной черты из жизни сего редкого человека. Ежели бы – ежели бы... тогда и в уездах можно бы было жить беззаботно; тогда нарушение закона почиталось бы стыдом, а взятка бесчестьем. Земля она богата и велика, сказал еще Нестор\*. – Окончу латынью: *Ordo est clavis omnium rerum*\*.

### III

#### Домашний быт И. И. Дмитриева

И много лир висит безгласных – обвитых черным крепом! И А. И. Тургенева\* уже нет! и Пушкина\* нет! и Баратынского\* нет! и того нет, который изобразил Опасного соседа и восторженное свое путешествие в чужие края!\* И много лир уже обвиты черным крепом! Но пока живем, о живом среди обуреваний житейских вспоминать приятно.

В домашнем быту И. И. Дмитриева всякий легко мог заметить жизнь философа-поэта, коей сущность составляли мысли, понятия; то и другое он

искал и любил находить везде – в людях и вещах – в предметах природы и в предметах искусства. Это было единственное желание остальной его жизни. Лопас<н>енский крестьянин стихослагатель\* и Орлов с Кузмичевым были предметом его внимания; но встреча с Пушкиным и Гоголем возбуждала в нем даже радость. «О-О! Да он так и смотрит гоголем», – сказал он, проводивши почти до дверей автора Мертвых душ, проездом в свою Украину обедавшего у него\*. «Завтра же пошлю за его сочинениями и перечту их снова. У него и теперь много авторского запаса. Он не говорит *Батёвщина*, *Лагарповщина*. И Лагарп и Батё имели свое время и будут всегда иметь свое место. Я благодарен, что меня ознакомили с этим молодым человеком. Я очень доволен, что его узнал: в нем будет прок. Я и об Крылове то же говорил\*. Но в Орлове я ошибся, кажется. В нем, право, есть дарование, но необразованность слишком далеко его заносит. Я отдал его на перевоспитание Пушкину и князю В., но и они не могли с ним сладить: своя конура лучше ему нравится».

Однажды обедало у И. И. Дмитриева довольно пишущей братии, между прочими припоминаю Павлова\*, Надежина\*, Баратынского, Погодина, Раича\* – помнится, после последнего процесса с Семеном типографщиком, у коего напечатано будто было лишнее количество экземпляров его «Освобожденного Иерусалима». И. И. Дмитриев защищал его пред князем Д. В. Голицыным\*, который был на стороне Семена. После обеда, который был довольно занимателен по разнообразию лиц, понятий, поколений, – по причине довольно холодного времени, – перешли в библиотеку его, которая внизу, к камину. Помню эти жаркие состязания о романтизме и классицизме – тогда предмете еще новом на Руси, – а в этом собрании были и классики и романтики. Спор продолжался, а развязки не было. Не знаю кто, помнится Баратынский, обращаясь к И. И., сказал: «Позвольте предложить мне мое мнение, – и по получении согласия продолжал. – Всякое общество иначе не должно начинаться, как подражанием. Но у людей с дарованием самые подражания проявляются в особенных образцах, свойственных их понятиям, их гениальным воззрениям на предмет – то же, да иначе. Отселе происходят новые формы для изображения мыслей, для представления их в образах и оборотах речи. То же, да иначе, и любо, как читаешь. А это увлекает к подражанию новости, и отселе новая литература. Назовите ее романтической, все равно; главное, она новая, не похожая на предшествовавшую. Вы явились у нас с Карамзиным с новым словом, с новыми оборотами и с новыми формами речи; вы открыли нам совсем новый путь к изложению наших мыслей; поэтому вы наш романтик прежде, нежели начали у нас спорить о романтизме и классицизме». «Что касается до Карамзина, я

с вами согласен; но, благодаря вас за мнение обо мне, я только держался за него и шел с боку его в литературе, потому что я находил в нем истинного друга и мне нравилось все то, что ему казалось лучшим», – отвечал Дмитриев.

Этот г. Баратынский, с которым, хотя редко, но встречался я, всегда кроткий, всегда грустный, всегда ищущий чего-то в самом себе, оставил мне памятником о себе последнее выражение свое. Пред отъездом из Москвы, мне нужно было заглянуть в Опекунский совет, и там в общей зале я встретил Баратынского. После обыкновенных приветствий я спросил: «Вы, верно, приехали к торгам на имение какое-либо?» – Нет, отвечал он, – поучиться брать деньги даром. – «Как это?» – Я закладываю имение\*. – И это сказано им было с таким выражением грусти, которое и доселе живо во мне. Теперь, может быть, увидимся там.

В ту же романтическую осень, помнится, была первая моя встреча с вами. Я раскланялся уже с И. И., как человек докладывает, что вы приехали, и я остался еще на короткое время. Мне очень хотелось видеть вас, хотя на короткое время.

На другой день я заехал к И. И. вечером, и он встретил меня словами: «А мы с князем В. еще довольно долго проговорили. С ним всегда приятно проходит время. В нем много твердости и обдуманности в суждениях. Он любит литературу. Знаешь ли, что он сначала, когда Карамзин стал вхож в их дом и делался ему близок, он бегал от него; он даже не хотел знать русского языка; но потом он полюбил Карамзина, а с ним и русскую литературу, как только можно искренно полюбить»\*.

Помнится, это было в одно и то же время. Утром получаю я записочку: «У меня ныне литераторы обедают; поранее ко мне. Д.».

Приехавши по желанию, я не нашел хозяина. Меня просили подождать; но вскоре он возвратился.

– А я заезжал к италианцу колбаснику – жду ныне к себе литератора, о котором я много слышался. Он хорошо знает иностранную литературу – это сенатор М. П. Салтыков\*.

Во время обеда видно было, что тело его еще порядочно работает, но дух уже был немощен. После обеда, казалось, он рад был вздремнуть. После ухода его вскоре после обеда И. И. сказал: «А я заманил его к себе, чтобы свободнее наговориться с ним. Кажется, опоздал. Дряхлость – да, это мне, и одно это, не нравится в нашей жизни. Неправильно сравнивают старость с детством. Разница очевидная: дитя не имеет еще сознания о своей слабости; но при сознании – мысль о дряхлости, о калечестве – довольно грустная мысль. Я не боюсь смерти. Мысль об оной равносильна для меня

мысли, что я ныне должен спать, а завтра к утру пробудиться; но быть калекою – быть дряхлым старичишкой – очень незавидное состояние. Вот прямое состояние рабства! Негр с смыслом может угодить своему господину; для глубокой дряхлости не остается и этого удовольствия. Рад был бы, но не в силах сделать угодное, а это еще более будет раздражать других. Тогда Николашка мой (слуга его) делается моим слугою-тираном». Чтобы прервать нить столь грустных мыслей, я заговорил о телеграфических выходках против Карамзина. Немедленно Карамзин перед ним; все забыто – осталась неприятность, что молодые писаки коверкают слог, выражения и слова без пощады. И тут он мне показал страницы, исписанные его рукой, – слов и выражений, кои он находил в журналах того времени\*. Он хотел послать в Российскую Академию, одобрит ли она их. Ответит, вместо будет отвечать; выметать мусор (кажется) предрассудков из гостиных и пр. «Найдите в Карамзине что-нибудь подобное?» – Известны ли вам эти стихи?

...Булгарин у тебя в словесности диктатор,  
Историк Полевой,  
А П- - - сенатор\*.

В это время И. И. удержал меня у себя на вечер, обещаясь сказать мне новость для меня приятную. «Да притом тебе с стариком брюзгою не скучно будет. Я жду к чаю князя П. И. Шаликова\* и А. А. Волкова\*; тот и другой почитатели Карамзина, по крайней мере у меня в доме. Жалко, что к ним недостает еще Н. Д. Писарева\*. Знаешь ли, чем он меня утешил в последний свой приезд ко мне? Я только что получил естампы и показываю ему оные. Видя восхищение его, выражаемое и словами и руками, я спросил его: хочешь ли иметь эти естампы у себя? Когда я умру, то откажу тебе все, какие у меня есть естампы. Это его до того обрадовало, что он мгновенно обратился ко мне с просьбою, чтобы я дал ему и формальное обеспечение. Я обещаю ему завещать это в моей духовной; но он этим недоволен, боится, что мои родственники не выдадут ему даже по моему завещанию\*».

Я не мог удержаться от смеха, слыша о таком благородном побуждении. «Ты смеешься – а я не шутя обещал ему это в завещании моем, и он, встретясь со мною у Броглио\*, напомнил мне об обещанном мною завещании. Волков хочет, чтобы я похлопотал об нем; ему хочется быть камер-юнкером. При том это ему и нужно теперь; он влюблен в ..., а получивши камер-юнкера, он осмелился бы тогда приступить к сватовству. Шаликов меня довольно помучил своими жалобами о разорении своем от неприятеля». Потом, что тебе завещать, спрашивает у меня. Я молчал. «Книги мои,



не правда ли?» Я молчал. Он протянул ко мне руку и с чувством сказал: «Нет – останемся по-прежнему. Вот тебе обещанная новость: князь В. чрез Бенкендорфа просил Государя о позволении Его вступить ему в службу, и Государь милостиво принял его желание. Я читал его письмо – какая сила и благородство в мыслях!» Он это хорошо сделал, что вздумал вступить в службу; но жалко с ним расстаться; хотя он и полуночник, – смеясь прибавил И. И., – но и за полночь с ним очень, очень приятно проводить время. В нем-то я уверен, что Карамзин жив в душе его».

Во время чая этого вечера Дмитриев расхохотался как нельзя более. Князь Шаликов имел обыкновение, по крайней мере у И. И., взявши чашку, прихлебывать чай понемножку, сопровождая каждое прихлебывание восклицаниями. Обыкновенные восклицания его были: что за чай! Это только у вас одного я пью такой чай. Это настоящая амброзия! Это нектар Гебы и пр. Выслушав такие восклицания, Дмитриев спросил: «Что бы вы сказали, князь, ежели бы вам подавала этот чай не костлявая рука старика, а белевская ручка хорошенькой девушки?» – О – это восхитительно, это божественно! – И. И. до того расхохотался, что встал из-за стола и начал прохаживаться по комнате. По уходе гостей он, припоминая разговор этого вечера, прибавил: «У всякого свой вкус. Я буду жалеть, когда князь В. уедет. С ним отводишь душу. Эти господа – почитатели Карамзина у меня – я уверен, не из последних противников *карамзинщины* в конторе Телеграфа». Потом, говоря об усилиях новых литераторов, чем бы то ни было и как бы то ни было, но прославиться, прибавил: «Князь В. уедет; Жуковский редкий гость для нас, Пушкин космополит, на него не надейся; придется приняться опять за Орлова, не приведу ли я его на добрую стезю».

Он долго надеялся, что Орлов будет в состоянии переменить свой образ жизни и свои привычки, пока не увидел его сам мимоездом в положении *plus ultra*. Рассказывая мне об этом, он припомнил об Е. Кострове. Вы знаете, что это певец давно минувших дней! Наслышавшись об нем как об отлично знающем словесность, И. И., идучи однажды мимо Университета, вздумал зайти к нему.

«Спрашиваю, где живет г. бакалавр Ермил – Костров? Меня проводят к нему – отворяют дверь. Так и понесло... Что же вижу? За простым столом сидят двое в нагольных тулупах; перед ними полштофа и кусок хлеба на деревянной тарелке. Это произвело на меня такое впечатление, что я не искал уже более случая короче сблизиться с пиитою»\*.

По уходе одного гостя И. И., задумавшись, начал прохаживаться по комнате, потом, обращаясь ко мне, сказал: «Слышал? – Меня оскорбляет, когда вижу, что люди марают высокое, благородное; но я негодную и, при-

знаюсь, с трудом удерживаю негодование свое, когда вижу людей, лицемерно поддельвающих под чувства, не свойственные им. Иуда продал Учителя своего за тридцать сребренников – преступление гнусное, но еще человеческое; но когда он дерзнул целовать Спасителя и знак любви сделал печатью предательства, тогда лопнула последняя нить, связывающая его с человечеством».

И. И. Дмитриеву всегда приносило удовольствие, когда он видел у себя или в обществе С. П. Румянцева\*. «Он имеет очень большие дарования и познания. Он много читал, много видел и много знает. Он бы мог быть весьма полезен для литературы; но его беспрестанно отвлекают. Однажды я заезжаю к нему довольно рано и нахожу у него в зале разговаривающих Ч. и Б.\*, обоих в белых перчатках и готовых спорить. Слуга пошел доложить, а Б. подходит ко мне и говорит: “Верно-с к С. П.? Он еще не оделся; об нас уже докладывали-с, и человек-с просил подождать; он скоро оденется”. Несмотря на такое уверение, в то же мгновение является С. П. с веселым лицом, приглашает меня к себе и, поклонившись им, делает им знак рукою, чтобы и они следовали за нами. Мне показалось, что С. П., увидя их, смутился. Мы уселись особо, а они особо. Разговор наш тянулся и долго и приятно. По временам я посматривал на господ, которых терпение истощалось видимо, особливо у Б., который то посмотрит на часы, то снимет перчатку, то опять наденет оную. А какое изменение в лицах, когда я стал прощаться с С. П. Жалко, что тут не было какого-нибудь Говарда\* – прекрасный явился бы эстамп!»

«Я не постигаю удовольствия страстей: скупости и любви к картам\*. Но скупость, – прибавил он, – говорят, имеет ту выгоду, что скупые будто бы долго живут. Правда ли это? Не знаю. Любители карт и этим похвастаться не могут. Однажды мы разговорились с Лодером\*; я хотел у него выпытать, что более располагает к долгой жизни? Он отвечал мне не запинаясь: довольство собою. Надобно позволять себе немножко суетности. Кажется, он прав. Поверяя себя, сознаюсь, что я также frivol (собственное выражение И. И.). Вчера у меня был гость, и я очень доволен его посещением. Не напрасно целая Москва следит за ним. Он перевел Юлия Цесаря\* и сделал к нему свои замечания. Это очень любопытно. Теперь-то я жалею, что плох в военных науках. Меня подстрекает любопытство читать этот перевод, и не знаю, как помочь себе в этом. Я думаю собрать все переводы Юлия Цесаря, какие были, и читать, сравнивая их; но и в этом случае надобно пособие какого-либо генерала, который бы меня вразумлял. Право, Ермолов растревожил мое любопытство».

Однажды, проведивши Чад.\*, И. И. сказал: «Все благо, все добро. Но уважительна ли причина для перемены религии? Когда мы принимаем поручение, ничто не может нас оправдывать, ежели мы его не выполним. Государь узнал о неприятной истории Семеновского полка сутками ранее прибытия Его курьера. И как еще узнал? Что должен Он был думать в продолжении этих суток! Нельзя же было награждать курьера за то, что он привез вести позднее целыми сутками. Чтобы объявить себя обиженным, довольно и отбытия за границу. Но переменить религию, с которою образовался, вырос, и притом при обстоятельствах негодования на свою неудачу, в этом случае убеждение теряет цену. Я не нахожу во мне оправдания для таких случаев. Религия, внушаемая нам в детстве, остается с нами при всех слабостях наших. Впрочем, все благо, все добро. И та и другая религия имеет одну цель – поставить человека на стезю вечного добра».

*Продолжение будет*

## ПРИМЕЧАНИЯ

*К стр. 183.* *Травемюйде* – морской порт Травемюнде неподалеку от Любека.

*Александр Иванович Долгоруков* (1793–1868) – старший сын поэта И. М. Долгорукова, литератор, знакомый Вяземского, В. Л. Пушкина, И. И. и М. А. Дмитриевых. К первой части «Сочинений Александра Ивановича Долгорукова в прозе и стихах» (СПб., 1859) приложен его портрет, по которому можно отчасти судить о внешности А. А. Иовского, – если зрительная ошибка Дмитриева имела какие-то реальные основания.

*Дом Павлова.* – Числился в третьем квартале этой части города. Вскоре, впрочем, Иовский переселился в дом Герасимова «у Рождества в палатах».

*К стр. 184.* *Александр Анфимович Орлов* (1790?–1840) – один из самых популярных низовых литераторов 1820–1830-х годов, известный по пушкинским антибулгаринским памфлетам (см., в частности: *Березкина С. В.* А. А. Орлов и антибулгаринская борьба 1830–1833 гг. // *Временник Пушкинской комиссии.* Л., 1987. Вып. 21). В 1814–1821 годах (с перерывами) учился в Московском университете, публиковаться начал с середины 1820-х и, вероятно, не раз обращался за помощью к Дмитриеву (просительное письмо Орлова к нему 1831 года опубл. в: *Шляпкин И. А.* Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903. С. 154–155). Во второй половине 1820-х годов Орлов установил связи с редакцией «Московского телеграфа» (Вяземский, братья Полевые) – чему, соглас-

но свидетельству Иовского в очерке «Домашний быт И. И. Дмитриева», способствовал Дмитриев. Основную лит-ру об Орлове см. в ст. А. В. Корнеева в: Русские писатели. 1800–1917 : биогр. словарь. М., 1999. Т. 4. С. 446–448.

*...в самых высших слоях... – Вероятно, описка, вместо «низших».*

*К стр. 185. Федот Семенович Кузмичев (1799–1860?) – сын крепостного в составе Московского ополчения, отроком принявший участие в Бородинской битве, а затем дошедший с русской армией до Франции, был дворовым княжны А. М. Голицыной, с 1830-х годов, получив вольную, числился московским мещанином. С 1824 года начал интенсивно писать в стихах и прозе, а с начала 1830-х – и печатать сочинения в различных жанрах массовой беллетристики (более 50 книг и брошюр). См. о нем статью Б. В. Дубина и А. И. Рейтблата в кн.: Русские писатели. 1800–1917. М., 1994. Т. 3. С. 208–209.*

*Третьяков. – К сожалению, сведений о нем найти не удалось.*

*Чай Иван. – Так называли суррогатную продукцию, изготавливавшуюся в России (центром этого промысла считалось село Копорье Петербургской губ.) из местных травянистых растений (в основном кипрея).*

*...во время хлопот... – О работе Дмитриева в Комиссии для пособия разоренным жителям Москвы в 1816–1819 годах. см.: Взгляд... С. 241–244, а также публикацию А. А. Костина в настоящем сборнике.*

*...живописец... – Вероятно, камердинер Дмитриева Николай, которого хозяин любил представлять своим знакомым как большого оригинала («философа», «автора», «художника»).*

*К стр. 186. ...в сером фраке... – Оригинальный выбор Дмитриевым цветовых гамм и фасонов своих костюмов не раз отмечался современниками. «Одевался он по своему покрою, носил платье того цвета, какой ему более нравился: у него были и серые, и коричневые, и зеленые фраки, парики всех цветов, даже иногда цветов невозможных, почти фантастических. Строгий классик по своим литературным верованиям, он во многом был самовольный романтик» (Вяземский П. А. Иван Иванович Дмитриев. С. 260). Ср. в стихотворении «Дом Ивана Ивановича Дмитриева» (1860): «Власть моды на дела и платья отвергал: / Когда все были сплошь под черный цвет одеты, / Он и зеленый фрак, и пестрые жилеты / Носил; на свой покрой он жизнь свою кроил» (Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 362). Внебрачный сын П. П. Бекетова вспоминал о гардеробе Дмитриева для дружеских визитов: «Одевался он тщательно, просто; чаще всего можно было видеть его во фраке серого цвета, точнее – грифельного. Звезды носил он, как и все тогда, постоянно» (Из воспоминаний А. П. Кетова // РА. 1904. № 9. С. 29).*

...о Шмиде... – Вероятно, имеется в виду доктор И. Шмидт, переселившийся из Германии в Москву весной 1812 года.

*Histoire...* – Книга иллюстрирована Горацием Верне (Paris: Dubochet, 1839; 2 ed. 1843). На стр. 180 (глава 10, эпоха Конвента) изображен моложавый Л. Н. Карно (1753–1823), действительно напоминающий миниатюрный портрет Дмитриева (в офицерском мундире).

*К стр. 187. ...равнодушно не мог вспоминать...* – Ср. свидетельство Н. Д. Иванчина-Писарева о степени благоговения Дмитриева перед своим монаршим покровителем: «Никогда не доканчивал он имени Александра I – голос его прерывался слезами» (Грот. С. 31). Траурным панегириком Александру I закончил Дмитриев «Взгляд на мою жизнь» (последнее примеч. от 10 января 1826 года. – С. 253–254).

...мнение... о Польше. – Проекты воссоединения Польши и предоставления ей независимости Карамзин резко осудил в письме, зачитанном и врученном императору 17 октября 1819 года (публикуется под заглавием «Мнение русского гражданина»). Рассказ об этом чтении Дмитриев мог слышать от самого Карамзина, когда в 1822 году приезжал в Петербург и жил по соседству с другом в Царском Селе.

*История.* – Первые восемь томов «Истории государства Российского» вышли в 1818 году, 9-й – в 1821-м, 10 и 11-й – в 1824-м, 12-й – по-смертно в 1829 году; при последнем общении с Карамзиным в 1822 году «из рук» историографа Дмитриев, кроме 9-го мог получить и переиздание первых восьми томов.

*К стр. 188. Новиков.* – Вероятно, отражение рассказа о первой публикации Дмитриева – его «Надпись» в восемь строк к портрету Кантемира появилась в «Санктпетербургских ученых ведомостях» (1777. № 15) с примеч. редактора журнала Н. И. Новикова, выразившего «искреннее желание» автору «хороших успехов во стихотворстве». Дмитриев вспоминал, что выслушал в этой связи дружеские поздравления, но сам, якобы, почувствовал двусмысленность пожелания Новикова (Взгляд... С. 33; высокая оценка просветительской деятельности Новикова – там же. С. 41 и сл.).

С...– Вероятно, речь идет о Николае Ивановиче Салтыкове (1736–1816), генерале, который сначала находился при великом князе Павле Петровиче, а затем был обер-камергером его старших сыновей, Александра и Константина; с 1787 года – член Совета при Екатерине II, с 1790-го – граф, с 1814-го – светлейший князь; с 1796-го – генерал-фельдмаршал. «Временщиком» Салтыков отчасти мог считаться с 1789 года – времени «фавора» П. А. Зубова, которому он протезировал; тогда же Салтыков возглавил Военную коллегию и являлся высшим начальством для офицера Дмитриева (как и по Семеновскому полку, подполковником которого был Салтыков). В годы своего министерства

Дмитриев ощущал неприязненное отношение к себе Салтыкова, ставшего главой Государственного совета и совета министров, что и подтолкнуло Дмитриева уйти в отставку. Вяземский вспоминал, что сначала в записках Дмитриева содержалась гораздо более резкая характеристика Салтыкова (Т. 7. С. 160; ср. Взгляд... С. 225–226, 229; Вяземский. Т. 8. С. 120–121).

*...гнусный донос.* – Свой арест в конце 1796 года по навету дворового человека и последовавшие после освобождения милости Павла I Дмитриев подробно описал в четвертой книге «Взгляда...».

*К стр. 190. Сперанский.* – Уважительный рассказ Дмитриева о деловых и личных достоинствах М. М. Сперанского и о крушении в начале 1812 года его карьеры госсекретаря см.: Взгляд... С. 193–200.

*Давыд Максимович Алопеус* (1769–1831) занимал пост посланника в Берлине с 1815 года до своей смерти. А. А. Аракчеев, с воцарением Николая I утративший свои прежние властные полномочия, в мае 1826 года уехал на полгода для лечения в Европу. В Берлине представлялся прусскому королю Вильгельму Фридриху III.

*...генерала.* – Речь идет о Михаиле Федоровиче Орлове (1788–1842), который в 1831 году получил позволение жить в Москве (по делу декабристов Николай I его помиловал, отправив поднадзорным в имение). В 1814 году Орлов фактически принимал капитуляцию Парижа, стал одним из самых молодых генералов. Активный участник тайных обществ, он выступал с проектами различных государственных реформ. Сложно сказать, в каком контексте Орлов привел (как можно полагать из рассказа Иовского – сочувственно) наполеоновскую максиму «Le trône...». 1 января 1814 года Наполеон осадил членов законодательного собрания Франции, требовавших реформ государственного управления, заявив им: «Вы стремитесь отделить государя от нации. Я один есть представитель народа, а кто из вас мог бы взять на себя такую ношу. Трон это всего лишь доски, обитые бархатом». Этот известный эпизод был пересказан и в той иллюстрированной «Истории Наполеона», на которую Иовский ссылается в предыдущем письме (см. примеч. к стр. 186; цитата: Histoire de l'empereur Napoléon. Par P.-M. Laurent de l'Ardèche. P. 665). В своем калужском селе Милиятине Орлов завел знаменитый стекольный завод и сам разрабатывал химические технологии; производство, впрочем, было убыточным. Основная сфера занятий Орлова с конца 1820-х годов – теория финансов и политэкономия; его главный труд «Опыт теории налогов», о котором и вспоминает Иовский, был анонимно издан в Москве в 1833 году (см. о нем в кн.: Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа. Политические соч. Письма. М., 1963, а также ст. А. А. Ильина-Томича в: Русские писатели. 1800–1917 ... Т. 4. С. 450–452).

*К стр. 191. Козлятинов.* – О близкой дружбе с Федором Ильичем Козлятевым (1750-е?–1808), сослуживцем по Семеновскому полку и «ментором» начинающего поэта, Дмитриев подробно рассказывает в своих записках (Взгляд... С. 47–49, 158: «Это был больше, чем друг, истинно мой добрый гений!»). Имена Козлятева и Карамзина были для него одними из самых дорогих. Уважение к памяти Козлятева Дмитриев привил и молодым поэтам – Жуковскому, Вяземскому. Последнему в письме от 10 ноября 1821 года он сообщил прочувствованную характеристику Козлятева, включенную Вяземским в «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева» (опубл. в 1823 году).

*...у... магазина Розентрауха...* – Модная лавка Витали, косметический магазин В. И. Розентрауха, открытый в 1826 году ресторан Т. Яра помещались в районе Кузнецкого моста.

*...Кто имеет друга...* – Отсылка к сентенции из посвящения, предпосланного Карамзиным первой книге его альманаха «Аглая» (1794): «Мы живем в печальном мире; но кто имеет друга, тот пади на колена и благодари Вездесущего!»

*Н. И. Агарев* – Николай Иванович Огарев (1778–1852). В 1826 году был назначен сенатором, до этого – обер-прокурор 2-го отделения 5-го департамента Сената. О расположении Дмитриева к Огареву и протекции ему см.: Вяземский. Т. 8. С. 133–134. Об одном из обедов Дмитриева с Огаревым вспоминал М. А. Дмитриев (Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 353).

*К стр. 192. ...пойдут... хинью* – даром, на ветер, без пользы и толку (Даль).

*...спорили о подобном предмете...* – О «филантропических» спорах Карамзина и Дмитриева см. также: Вяземский. Т. 7. С. 159.

*К стр. 195. Начальники губерний...* – Так нередко обобщенно именовали губернаторов, генерал-губернаторов, а также наместников областей, объединяющих ряд губерний.

*Бездна премудрости.* – «Недоросль», д. 2, явл. 5 – формулировка из прошения об отчислении из семинарии в гражданскую службу.

*То домик выстроят...* – Из басни Крылова «Лисица и Сурок».

*К стр. 197. ...не погубите нас!..* – Прямая цитата из «Ревизора» (слова Городничего) подтверждает ощущение, что весь фрагмент про инспекцию города составлен с оглядкой на комедию Гоголя.

*Дашков и Блудов.* – Рассказывая в седьмой книге своих записок о том плачевном состоянии, в котором он принял министерство, Дмитриев в числе недостатков отмечал и «определение чиновников к должностям большею частью на удачу, по проискам или через покровительство» (Взгляд... С. 183). Дмитриев обновил аппарат министерства молодыми образованными людьми (в частности, сотрудниками Московского ар-

хива Коллегии иностранных дел). Под его началом служили Дмитрий Васильевич Дашков (1788–1839), сам в 1832 году занявший пост министра юстиции, а также другой будущий «арзамасец» – Д. П. Северин (почти по-родственному опекаемый Дмитриевым), поэты Н. Ф. Грамматин и М. В. Милонов и др. Дмитрий Николаевич Блудов (1785–1864), также с юности знакомый с Дмитриевым, под его началом никогда не служил, продвигаясь по дипломатической стезе; в 1832 году он стал министром внутренних дел, а в 1839-м – министром юстиции (ранее в 1830 и 1837 годах в течение нескольких месяцев управлял Министерством юстиции) и одним из высших сановников империи.

*К стр. 198.* «*Восплачь, канцелярист...*» – Из пользовавшейся широкой популярностью «Элегии» Акима Нахимова, посвященной указу 1809 года: «Восплачь, канцелярист, повыгчик, секретарь, / Надсмотрщик возрыдай и вся приказа тварь! <...> О чин ассесорский, толико вожделенный! / Ты убегаешь днесь, когда я, восхищенный, / Мнил обнимать тебя, как друга, за алтын; / Быть может – навсегда прости, любезный чин!» Из этого же стихотворения, возможно, пришло в мемуар и упоминание об «акциденциях».

*К стр. 199.* ...*когда мадам дитя его учила...* – Переход от «вотчинной» философии фонвизинской Простаковой к характеристике поверхностного светского образования в «Евгении Онегине» дает неожиданное сопряжение различных исторических и социокультурных систем. Оно продолжено и в следующей фразе, если видеть в ней реминисценцию стихотворения Н. М. Языкова «Песня» («Когда умру, смиренно совершите...», 1828): «Все тлен и миг! Блажен, кому с друзьями / Свою весну пропиловать дано; / Кто видит мир туманными глазами / И любит жизнь за песни и вино!..» Объединение провинциального низового невежества и либертинского гедонизма как явлений однопорядковых определенным образом характеризует жизненную позицию А. Иовского, которую он пытается несколько противоречиво высказать далее в своем тексте.

*Molem crudam* – грубая глыба (лат.).

*К стр. 200.* *Бриенская школа.* – В этой военной школе в Шампани юный Наполеон учился в 1779–1784 годах.

*На биваке...* – Ср.: Взгляд... С. 31–32, 50.

*Павел Иванович Дегай* (1792–1849) – юрист, окончил Харьковский университет, в 1814 году со степенью доктора права поступил в канцелярию статс-секретаря П. С. Молчанова, в 1815 году перешел в департамент Министерства юстиции (с 1831-го – его директор). С 1820 года служил в Москве, с 1842 года – сенатор. М. А. Дмитриев упоминает его первым в числе юристов, поднявших на высокий уровень судебно-правовую систему в Москве. Сохранился двухтомный труд Дегай 1824 года по истории законодательства, подаренный им И. И. Дмитриеву



(см.: *Дмитриев М. А.* Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 229, 635; здесь же – о контактах Дегаля с литераторами).

*И. Е. Соколов* – вероятно, Иван Яковлевич Соколов (1790–1848), в 1830–1840-е годы служивший в Москве обер-секретарем различных сенатских департаментов.

*К стр. 201. Земля... богата и велика...* – Имеется в виду рассказ о призвании варягов на Русь из Ипатьевской летописи: «Нестор пишет, что Славяне Новгородские, Кривичи, *Весь* и *Чудь* отправили Посольство за море, к Варягам-Руси, сказать им: *Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: идите княжить и владеть нами.* Слова простые, краткие и сильные!» («История государства Российского» Карамзина. Т. 1. Гл. 4). *Ordo est...* – Порядок – ключ ко всему (*лат.*).

*...А. И. Тургенева уже нет!..* – Датой смерти (3 декабря 1845 года) Александра Ивановича Тургенева определяется нижняя граница датировки этого очерка.

*Александр Сергеевич Пушкин* (1799–1837). – Поэт был знаком с Дмитриевым с детства, в 1826–1836 годах не раз посещал его дом. Канву их отношений см.: *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. 2-е изд. Л., 1989. С. 140–141. Известный детский каламбур Пушкина про Дмитриева («арабчик – рябчик»), вероятно, выдуманный М. Н. Макаровым в мемуаре в «Современнике» (1843. Т. 29), создал устойчивое представление о том, что Дмитриев был рябым. Между тем, в отличие от косоглазия, этот факт большинством современников не отмечается. Ср.: «Описывая наружность Дмитриева, я забыл упомянуть о том, что где-то <...> было сказано, что он был ряб. Племянник его, Михаил Александрович Дмитриев возражал на это, восстанавливая истину. Иван Иванович не был ряб, но сам М. А. Дмитриев был несколько рябоват» (Из воспоминаний А. П. Кетова // Русский архив. 1904. № 9. С. 29–30).

*Евгений Абрамович Боратынский* (1800–1844). – Знакомство поэта с Дмитриевым относится, вероятно, к осени 1825 года. Об их встречах в Москве см.: Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского / Сост. А. М. Песков. М., 1998; по указателю. О литературном вечере у Дмитриева в октябре 1825 года с участием Боратынского: Барсуков. Т. 1. С. 318. «Боратынский как-то не ценил ума и любезности Дмитриева. Он говаривал, что, уходя после вечера, у него проведенного, ему всегда кажется, что он был у всенощной. Трудно разгадать эту странность. Между тем он высоко ставил дарование поэта» (Вяземский. Т. 8. С. 434).

*Опасный сосед.* – При имени В. Л. Пушкина (1766–1830) мемуарист упоминает самое известное его сочинение: сатиру «Опасный сосед» и стихотворную шутку И. И. Дмитриева «Путешествие *N.N.* в Париж и Лондон, писанное за три дни до путешествия» – составленный от име-

ни В. Л. Пушкина стихотворный отчет о его европейском вояже в 1803–1804 годах. Напечатанное лишь в нескольких десятках экземпляров в типографии П. Бекетова (1808), это стихотворение было широко известно в литературных кругах и тиражировалось в списках.

*К стр. 202. Лопасненский крестьянин стихослагатель...* – Речь идет о крестьянском юноше-самоучке Петре Борисове (род. в 1811 году в селе Лопасня Московской губ.), который в 1826 году приехал в Москву и явился за протекцией к Дмитриеву, ободрившему его литературные устремления и оказавшему содействие в определении Борисова в гимназию. К 1832 году Борисов был исключен из университета, что вызвало недовольство Дмитриева (Русская старина. 1899. № 3. С. 690). Первую свою встречу с Борисовым Дмитриев изобразил «в лицах» в письме к известному пропагандисту «самородков» П. П. Свиныну 22 февраля 1826 года (Соч. 2. С. 293–294); см. также письма к Свиныну 1826 года И. М. Снегирева («Вся Москва занимается им»: РНБ. Ф. 679. Оп. 1. № 111. Л. 3–5). Сообщения о лопасненском поэте вскоре появились в «Московском телеграфе» (1826. № 2. С. 182 – о визите Борисова к Дмитриеву) и «Отечественных записках». См. о Борисове: Русские писатели. 1800–1917. М., 1989. Т. 1. С. 312 (ст. С. В. Сучкова). О Ф. С. Кузмичеве и А. А. Орлове см. выше.

*Николай Васильевич Гоголь (1809–1852).* – Знакомство с Дмитриевым относится к июлю 1832 года. К этому времени каламбурное обыгрывание фамилии Гоголя было достаточно распространено; Н. М. Языков уже в декабре 1831 года писал из Москвы брату: «...если не ошибаюсь, то Гоголь пойдет гоголем по нашей литературе» (Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1983. Т. XI. С. 281).

*Иван Андреевич Крылов (1769–1844).* – «Благословение» Дмитриевым И. А. Крылова на басенное творчество – важный сюжет в культурной мифологии дмитриевского круга, особенно в свете споров 1810–1820 годов о сравнительных достоинствах двух баснописцев. Многочисленные упоминания современников и историков о «патронате» Дмитриева Крылову-баснописцу опираются на примечание П. И. Шаликова к публикации басен Крылова в «Московском зрителе» (1806. № 1. С. 73) с указанием на то, что эти стихи передал в журнал Дмитриев с «похвалой» и «удовольствием». Вероятно, Дмитриев не хотел, чтобы этот факт забылся, и периодически вспоминал о нем в литературных беседах. Современники по-разному оценивали отношения двух баснописцев. П. А. Вяземский настойчиво подчеркивал, что Дмитриев был «первым оценителем басней» Крылова (О смерти И. А. Крылова // Памяти князя П. А. Вяземского / Труд С. И. Пономарева. С. 6). Недоброжелатели говорили о «зависти» Дмитриева: «Он завидовал славе Крылова и не мог равнодушно переносить похвалы этому баснописцу»: (Русская старина. 1890. № 6. С. 680). «Мифом» считал покровительст-

во Дмитриева Крылову специально изучавший этот вопрос Ф. Витберг (Первые басни И. А. Крылова // Известия ОРЯС. 1900. Т. 5. Кн. 1. С. 208–219, 257); см. также: Чулицкий. № 4. С. 358–362.

*Михаил Григорьевич Павлов* (1792–1840) – профессор Московского университета, где читал курсы физики и различных естественных наук, особой известностью пользовался как пропагандист философии Шеллинга. В 1828–1830 годах издавал журнал «Атеней». Павлов в 1811 году закончил ту же Воронежскую семинарию, что и А. А. Иовский.

*Николай Иванович Надеждин* (1804–1856) – первыми же своими статьями в «Вестнике Европы» (1828) приобрел репутацию строгого критика романтизма; в 1831–1836 годах занимал кафедру теории и истории изящных искусств в Московском университете и одновременно издавал журнал «Телескоп». Из-за публикации «Философического письма» П. Я. Чаадаева журнал был закрыт, а Надеждин сослан. В 1829 году М. П. Погодин сообщил С. П. Шевыреву о Надеждине, что «И. И. Дмитриев прежде ругал его, а теперь ласкает, ибо оба ненавидят Полевого» (Барсуков. Т. 2. С. 351).

*Семен Егорович Раич* (1792–1855) – в 1820-е годы вел частную педагогическую практику и преподавал в университетском Благородном пансионе, объединил вокруг себя кружок молодых литераторов. Выпускал альманахи «Новые Аониды» (1823), «Северная лира на 1827 год», а в 1829–1830 годах – журнал «Галатей» (возобновлен в 1839–1840 годы; здесь помещено «Воспоминание о знакомстве моем с Дмитриевым» М. Н. Макарова (1839. № 5)). Дмитриев с самого начала протезировал Раичу; в 1821 году, высылая А. С. Шишкову раичевский перевод «Георгик» Вергилия, он дал самую лестную характеристику переводчику: «При основательном просвещении своем отлично скромн, доволен малым; – и главные занятия его досугов состоят в постоянном изучении классических поэтов римских и италийских, которых язык знает он совершенно» и т. д. (Соч. Т. 2. С. 276). Забавную историю о знакомстве Дмитриева с Раичем, которого он перепутал с неким пылким любителем цыганок, вспоминал Вяземский (Т. 7. С. 163). М. А. Дмитриев отмечал, что Раич относился к немногим писателям молодого поколения, сохранившим приверженность к Дмитриеву (Мелочи. С. 123). Раич в 1831 году выпустил в типографии Августа Семена (1783–1862), считавшейся лучшей в Москве, перевод «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо.

*Дмитрий Владимирович Голицын* (1771–1844) – в 1820–1843 годах московский генерал-губернатор, оказывал вместе с Дмитриевым особое «покровительство» литературному обществу Раича (Автобиография С. Е. Раича / Сообщ. Б. Модзалевский // Русский библиофил. 1913. № 8. С. 28).

*К стр. 203. Я закладываю имене.* – В 1842 году Боратынский заложил на 26 лет тульское имене Энгельгардтов Скуратово, собирая средства на постройку усадебного дома и организацию промышленной лесопилки. Хозяйственные хлопоты вынуждали его в начале 1840-х годов регулярно приезжать в московский опекунский совет.

*...он сначала... бежал от него...* – О своем первоначальном детском неприятии Карамзина, который в 1804 году женился на сводной сестре П. А. Вяземского, он рассказал в «Автобиографическом введении» к Собранию сочинений (1878).

*М. П. Салтыков.* – По всей видимости, речь идет о Михаиле Александровиче Салтыкове (1767–1851), почетном члене «Арзамаса», с 1825 года тесте А. А. Дельвига. Краткое время Салтыков был «в случае» у Екатерины II, в начале царствования Александра I входил в его ближайшее окружение, в 1812–1818 годах был попечителем Казанского учебного округа. Назначенный в конце 1828 года сенатором в 6-й департамент, Салтыков поселился в Москве (дети его жили в Петербурге, а жена умерла в 1814 году). Глубокое знакомство Салтыкова с французской литературой XVIII века и его «обширные познания» отмечаются многими мемуаристами (Ф. Ф. Вигель, Д. Н. Свербеев, А. И. Дельвиг и др.). По обобщенной характеристике Б. Л. Модзалевского, Салтыков «был предан театральным и литературным интересам и сам <...> много писал (хотя ничего и не печатал), а читал – еще больше» (*Модзалевский Б. Л.* Пушкин и его современники. СПб., 1999. С. 154; здесь же о московском круге общения Салтыкова, в том числе И. И. Дмитриеве – с. 158). Вяземский вспоминал, что Салтыков, как и Дмитриев, выписывал из книг возмущавшие его «неологизмы новейшей школы» (Т. 7. С. 167).

*К стр. 204. И тут он мне показал страницы...* – Этот пассаж имеет полное соответствие в позднейших (начала 1830-х годов) авторских примеч. к первой части «Взгляда на мою жизнь» (С. 98–100, 103), где приведен и список «нововведенных слов» и выражений, почерпнутых в основном из статей и повестей Н. Полевого, который Дмитриев заключает ремаркой: «Довольно. Мне пришлось сказать к слову. Пространнее же пусть посудит о том И<мператорская> Российская Академия» (С. 100). Примеры «порчи языка» (Полевым и в «Библиотеке для чтения») Дмитриев приводит также в письме П. П. Свиньину 11 февраля 1834 года с замечанием: «Хотел бы знать, что думает почтенный Александр Семенович <Шишков> о всех новизнах в нашей словесности?» (Соч. Т. 2. С. 308; см. там же письма Свиньину 20 февраля 1835-го, Жуковскому 13 марта 1835-го и 6 сентября 1836-го, А. С. Пушкину 10 апреля 1835 года и др.). Критически о слове «мусор» в стихах С. П. Шевырева: Старина и новизна. СПб., 1907. Кн. 12. С. 332.

...*Булгарин у тебя...* – Возможно, это двустийный экспромт самого Дмитриева, относящийся к 1830 году. Опущенное имя, по всей видимости, – Александр Александрович Писарев (1780–1848), генерал, член Российской Академии (1809), «Беседы любителей русского слова» и др. обществ; в 1825–1830 годах – попечитель Московского учебного округа и университета, в 1829–1830 годах – председатель Общества любителей российской словесности. В 1830 году назначен сенатором с пожалованием в тайные советники. В московской «патриархальной» литературной среде (П. И. Шаликов, А. А. Волков и др.) Писарев играл роль покровителя.

*Петр Иванович Шаликов* (1768–1852) был верным адептом Дмитриева. Журнал Шаликова «Московский зритель» (1806) активно использовался Дмитриевым для литературных войн (см.: *Вацуро В. Э. И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века // В. Э. Вацуро. Пушкинская пора.* СПб., 2000), в издававшихся позднее Шаликовым «Аглае» (1808–1810, 1812) и «Дамском журнале» (1823–1833) много комплиментарных отзывов о старшем поэте. При этом отношение Дмитриева к Шаликову часто было пренебрежительно-ироническим (см.: Мелочи; по указателю). Личной обидой объясняется закамуфлированно насмешливая рецензия Шаликова на дмитриевские «Апологи в четверостишиях» (Дамский журнал. 1826. Ч. XIII. № 5. С. 217–222).

*Александр Абрамович Волков* (1788–1840-е ?) – автор тяжеловесной по стилю и построению поэмы «Освобожденная Москва» (1820), был преданным почитателем Дмитриева, посвящал ему свои сочинения, опубликовал очерк «О последних днях жизни И. И. Дмитриева» (Московский наблюдатель. 1837. Июль. Кн. 2). См. коммент.: *Вацуро В. Э. Письма русских писателей XVIII века.* Л., 1980. С. 454.

...*недостает еще Н. Д. Писарева.* – О вызывавшей «удивление» в обществе привязанности Дмитриева к А. А. Волкову и горячему поклоннику Карамзина Николаю Дмитриевичу Иванчину-Писареву (1790–1849) см.: Мелочи. С. 150.

...*обещаю ему завещать...* – М. А. Дмитриев, передавая этот «анекдот», говорит, что речь шла об одном – очень ценном – эстампе и что И. И. Дмитриев по просьбе Иванчина-Писарева дал расписку в том, что завещает эстамп ему. «После кончины Ивана Ивановича мне большого труда стоило уговорить его наследников отдать этот эстамп Писареву: анекдоту моему не верили, принимая все это за шутку <...> Но, к счастью, я нашел в бумагах Ивана Ивановича его расписку; и эстамп был наконец отдан по обещанию» (Мелочи. С. 132–133). То же он повторяет в «Главах из воспоминаний моей жизни» (С. 386–388), описывая распыление собрания эстампов при общем дележе наследства И. И. Дмитриева.

*Броглио.* – Вероятно, имеется в виду близкая подруга невестки И. И. Дмитриева гр. Анна Петровна Броглио (урожд. Левашева), званные обеды которой славились в Москве (см.: *Дмитриев М. А.* Главы из воспоминаний моей жизни; по указателю).

*К стр. 205.* ...*вступить ему в службу...* – Вернуться на службу (после скандальной отставки в 1821 году) Вяземский решил в 1828 году и составил для императора обстоятельную «Записку о князе Вяземском» (была посмертно опубликована под загл. «Моя исповедь»), в которой с достоинством и чувством собственной правоты изложил свою общественную позицию. После унижительных проволочек и нового обращения к царю Николай I распорядился 18 апреля 1830 года определить Вяземского чиновником особых поручений при министре финансов Е. Ф. Канкрине. Для улаживания служебных дел Вяземский еще в феврале 1830-го уехал в Петербург.

...*где живет г. бакалавр Ермил – Костров?* – Восходившие к И. И. Дмитриеву рассказы о Ермиле Ивановиче Кострове (1755–1796) пользовались большой популярностью, часто искажаясь при пересказах (ср.: Мелочи. С. 25–27; Вяземский. Т. 8. С. 10).

*К стр. 206.* *Сергей Петрович Румянцев* (1755–1838) – много странствовавший по Европе, пользовавшийся симпатией Вольтера дипломат, член Государственного совета, брат канцлера Н. П. Румянцева – был в дружеских отношениях с Карамзиным и Дмитриевым и скептически относился к языковой программе Шишкова. Он всю жизнь занимался литературой, писал ученые и публицистические сочинения. В юности получив известность своими французскими стихами, в 1810-е Румянцев пробовал себя и в русской поэзии – сохранился цикл его басен, которому предпослано послание Дмитриеву (см.: *Крестова Л. В.* С. П. Румянцев – писатель и публицист (1755–1838) // XVIII век : сб. 6 : Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма. Л., 1964. С. 123–128). Разговор Дмитриева с Румянцевым о стихах Д. И. Хвостова Вяземский включил в «Старую записную книжку» (Т. 8. С. 427).

*Ч. и Б.* – Возможно, имеются в виду преподаватели Московского университета А. Х. Чеботарев (1784–1833) и А. В. Болдырев (1780–1842, в 1832–1837 – ректор), изображенные как маргиналы в «хорошем обществе».

*Говард* – то есть Уильям Хогарт (1697–1764), английский живописец и график, автор популярнейших в Европе XVIII – начала XIX века сатирических серий эстампов «История шлюхи», «История распутника» и др. Об известности Хогарта в России см.: *Левин Ю. Д.* Уильям Хогарт и русская литература // Русская литература и зарубежное искусство. Л., 1986. С. 35–61.

*Я не постигаю удовольствия... любви к картам.* – Отрицательное отношение к карточной игре стало у карамзинистов важной деталью культурного поведения.

*Христиан Иванович Лодер* (1753–1832) – известный московский врач, профессор.

*Он перевел Юлия Цезаря...* – Речь идет об Алексее Петровиче Ермолове (1777–1861), который в 1827 году был смещен с поста кавказского наместника и в 1831-м поселился в Москве, где купил дом на Пречистенском бульваре. Пользовался необычайной популярностью в обществе, в собраниях и даже на улицах привлекал к себе всеобщее внимание (см., в частности, в некрологической брошюре: *Le general Yermolov par le Prince Pierre Dolgoroukow*. Bruxelles & Leipzig; Paris, 1862. P. 24; см. также в «Былом и думах» Герцена). «Беседа его была очаровательна. Воспоминания, анекдоты, замечания, остроты лились потоками. И любопытно, и весело, и поучительно» (Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его биографии, собранные М. Погодиным. М., 1864. С. 448; здесь же см. высокие оценки Ермоловым Жуковского, Пушкина, Вяземского – с. 411, 413, 419). В качестве образца для своих записок о новейшей военной истории России, об управлении Грузией Ермолов считал «Записки о Галльской войне» Цезаря, которые не раз принимался переводить и любил комментировать в беседах со знакомыми. См. статью А. А. Ильина-Гомича в: *Русские писатели. 1800–1917*. М., 1992. Т. 2. С. 235–236.

*К стр. 207. Петр Яковлевич Чаадаев* (1794–1856) – философ, публицист. Скандальную отставку получил в феврале 1821 года, в 1823–1826 годах путешествовал по Европе, затем вел жизнь замкнутую и работал над «Философическими письмами». В 1830-е возвращается в светскую жизнь, становится модным героем московского общества. В 1836 году после публикации в «Телескопе» 1-го «Философического письма» был официально объявлен сумасшедшим. Известно, что Дмитриев получил от Чаадаева этот номер журнала и затем одним из первых навестил опального «сумасшедшего» в доме Левашевых, где тот жил с 1833 года до смерти: «Первым посетителем Чаадаева, в самый первый день опалы, был И. И. Дмитриев» (Барсуков. Т. 4. С. 388). В жандармском донесении 1836 года в числе лиц, с которыми Чаадаев замечен «в коротких связях», первым назван И. И. Дмитриев (*Гершензон М. О. Избранное*. М., 2000. Т. 1. С. 433). Историческое определение его симпатии к католицизму, но формально в католичество он, по-видимому, не перешел. Сам Дмитриев, по выражению Вяземского, «не был особенно набожен» (Т. 7. С. 159).

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН  
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

**ИВАН ИВАНОВИЧ ДМИТРИЕВ (1760–1837)**  
**ЖИЗНЬ. ТВОРЧЕСТВО. КРУГ ОБЩЕНИЯ**

*Чтения Отдела русской литературы XVIII века*

**Выпуск 6**

Санкт-Петербург

2010



**УДК 882(09)**

**ББК 83**

**В 76**

Серия «Петербург в европейском пространстве науки и культуры».

Иван Иванович Дмитриев (1760–1837). Жизнь. Творчество. Круг общения / Ред. А. А. Костин, Н. Д. Кочеткова [Чтения Отдела русской литературы XVIII века. Выпуск 6]. – СПб., 2010. – 244 с.: ил.

**Редакционный совет серии:**

член-корр. РАН В. В. Окрепилов (*председатель*),  
член-корр. РАН В. Е. Багно, член-корр. РАН И. И. Елисеева,  
к. и. н. Е. А. Иванова (*ученый секретарь*), академик Н. Н. Казанский,  
д. филос. н. Э. И. Колчинский, академик А. В. Лавров, д. п. н. В. П. Леонов,  
член-корр. РАН И. П. Медведев, д. и. н. В. Н. Плешков,  
академик И. М. Стеблин-Каменский

**Редакторы сборника:**

А. А. Костин, Н. Д. Кочеткова

*Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда  
(проект № 10-04-14065 г)*

**ISBN 978-5-86763-246-5**

© Санкт-Петербургский научный центр РАН, 2010

© Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, 2010